

**Е. П. КАРНОВИЧ**

ПАГУБА. ПЕРЕПОЛОХ  
В ПЕТЕРБУРГЕ  
(СБОРНИК)

История в романах

Евгений Карнович

**Пагуба. Переполох в  
Петербурге (сборник)**

«Public Domain»

1887

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Карнович Е. П.**

Пагуба. Переполох в Петербурге (сборник) / Е. П. Карнович —  
«Public Domain», 1887 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03409-1

Евгений Петрович Карнович (1823–1885) – выдающийся русский историк и писатель. Автор многих интересных работ по русской истории, он известен также своими беллетристическими произведениями, в которых он описывает исторические события и рисует портреты исторических деятелей, основываясь на реальных документах, письмах и воспоминаниях участников событий. В данном томе публикуются два произведения писателя. Исторический роман «Пагуба» посвящен секретной странице русской истории – «Лопухинскому делу», «заговору» придворных дам против императрицы Елизаветы Петровны. В центре повествования – клубок дворцовых, политических, любовных интриг, жертвами которых стали невинные люди. Основанный на документальных источниках, роман достоверно воссоздает быт, нравы и судьбы людей елизаветинской эпохи. Повесть «Переполох в Петербурге» это тоже история, история первого в России публичного дома.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03409-1

© Карнович Е. П., 1887  
© Public Domain, 1887

## Содержание

Пагуба	6
I	6
II	13
III	16
IV	18
V	22
VI	27
VII	31
VIII	35
IX	39
X	43
XI	46
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# **Евгений Петрович Карнович**

## **Пагуба**

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

\* \* \*

## Пагуба

### I

В небольшой, но опрятно убранной комнате, на одной из многочисленных и скромных лифляндских мыз<sup>1</sup> сидели за дубовым чистым столом двое пожилых мужчин. Они составляли между собою совершенную противоположность по их внешности. Один из них, в котором легко было узнать хозяина, так как он угощал своего собеседника, был невысокий, здоровый и толстый весельчак с широкою грудью, короткою шеей и выдавшимся брюхом. Несмотря на свои почтенные годы и тучность, он отличался проворством и ловкостью. Часто во время разговора он или, вскакивая с места, смеялся от души, то отмахиваясь обеими руками, то держа ими свое дрожащее от смеха брюхо, или, оставаясь сидеть, сильно притопывал об пол своими короткими ножками в такт хохоту. Иногда, после громкого хохота, он отваливался на спинку кресел и с трудом дышал, как будто только что сбросил с плеч тяжелую ношу.

Другой собеседник – гость – был не столько высокий, сколько долговязый и поджарый, с коротким туловищем, с выпяченною искусственно грудью, на худеньких и тонких, точно жерди, ногах, и прежде всего напоминал собою журавля. Сидя на креслах, он беспрестанно вытягивал вперед свои ноги, обутые в высокие кожаные краги. Худошавое, с множеством мелких, неглубоких морщин, вроде продолговатых насечек, и с вытянутыми щеками лицо; лоб с высокими взлизами и глубоким вдоль его шрамом; орлиный, но вместе с тем аляповатый нос; впалые большие серые глаза под седеющими густыми бровями и, наконец, длинные и густые опущенные книзу усы с сильно пробивавшейся проседью, придавали этому гостю воинственный вид. Одежда его соответствовала как нельзя более этому виду. На нем был военный мундир тогдашнего немецкого покроя, из темно-зеленого сукна, с небольшим отложным воротником красного цвета, с мелкими круглыми пуговицами, и узкие лосиные панталоны; а на затылке болталась, словно маятник, то в ту, то в другую сторону, небольшая, плотно свитая косичка. Сбоку у него висел на белых ремнях с огромным эфесом большущий палаш<sup>2</sup>, который беспрестанно грохотал, стучаясь об пол, и который он по временам ставил между колен, складывая на его рукоятке свои жилистые руки или упираясь на него его гладко выбритым острым подбородком. К грохоту палаша примешивалось очень часто и звяканье огромных шпор. На столе перед ним лежали белые лосиные перчатки, небольшая треуголка тогдашней формы, с поднятыми с трех сторон полями, а отсрочивавший их золотой галун показывал людям, знавшим толк в тогдашней военной форме, что лицо, которому принадлежала треуголка, было особой штаб-офицерского ранга. Гость, говоривший, как и хозяин, по-немецки, произносил слова резко и отрывисто и порою так строго упирал свои глаза в собеседника, что тот если и не тряс своего приятеля-гостя, то все же весьма заметно проникался к нему уважением, отзывавшимся сознанием какой-то дисциплины. В это время он дружеское «ты» заменял обращением к своему собеседнику на «вы», прибавляя слова «высокородный господин, герр майор, герр фон Шнопкопф» и т. п., и веселость его на несколько времени замирала.

При разговоре двух старых приятелей присутствовало еще и третье лицо, которое, собственно, нельзя было назвать собеседником. Это был мальчик лет одиннадцати – красивенький белобрысенький немчик. Видно было, что на него майор производил чрезвычайно сильное впечатление. Он превращался весь в слух, стараясь не проронить ни одного слова, произносимого воинственным гостем; но лишь только гость хотя случайно обращал на него свои глаза,

---

<sup>1</sup> Мыза – хутор, усадьба.

<sup>2</sup> Палаш – прямая, длинная и широкая сабля.



мальчуган жался, ежился и как будто хотел куда-нибудь спрятаться от этих серых глаз, словно проникавших во все его помыслы. Очень бы хотелось подростку Фридриху подержать в руках или хоть потрогать блестящий палаш майора, надеть на свои маленькие руки его огромные перчатки с раструбами и его треуголку, но об этом нельзя было и подумать: майор смотрел так грозно, что при одной мысли о дерзостном прикосновении к его амуниции у мальчугана опускались вниз руки, чрезвычайно шаловливые в другое время.

Беседуя со своим приятелем, майор порою вынимал вставленную в один конец его рта коротенькую глиняную голландскую трубочку, из которой он с наслаждением тянул дым, слегка пошлепывая губами, как будто смакуя вкус той горечи, которая лезла ему в рот. Такие трубочки были тогда в Европе во всеобщем употреблении и со времени Петра расплодились и у наших солдат под названием «носогреек». Майор курил крепчайший кнастер<sup>3</sup>, от которого даже у него, несмотря на всю его привычку к этому снадобью, по временам мутило в глазах и в них начинали вертеться зеленые, синие и красные круги. Время от времени майор протыкал набитый плотно в трубку кнастер длинной медной спицей, привешенной к трубочке.

– Его курфиршское высочество, – рассказывал майор своему хозяину, – соизволил отдать тот отряд, к которому я принадлежал, в распоряжение его величества короля шведского Карла XII, и я, таким образом, участвовал в победоносной для шведов баталии под Нарвой. Побывал я потом в Польше, а затем пришли мы в Малороссию – страну очень хорошую, где можно жить и продовольствоваться войско очень дешево. Под Нарвой меня прокололи вот сюда пикой, – майор дотронулся рукой до левого бока, – но так как мы остались победителями, то раненные наши, в том числе и я, не были взяты в плен. Совсем другое вышло под Полтавой: там мы были разбиты русскими, и я, раненный пулею вот сюда, – майор высоко задрал вверх правую ногу и указал на ее щиколотку носком левой ноги, – был взят русскими в плен.

Так как Шнопкопф рассказывал теперь о своих военных деяниях, то требовалось оказать ему особенное уважение, и вследствие этого хозяин изменил свое приятельское обхождение с майором на почтительное.

– Ведь вы, господин майор, были взяты в плен вместе с его сиятельством господином графом фон Левенвольдом, моим земляком и почти соседом? – полунапоминая и полурасспрашивая своего собеседника, сказал хозяин. Хотя он очень хорошо знал это обстоятельство, рассказанное ему уже майором, но не упускал случая повторить этот вопрос, так как этим он давал майору повод завести сетования на испытанные им, Шнопкопфом, неудачи по службе, а майор, будучи совершенно одиноким человеком по своему семейному положению любил разговором об этом предмете с близкими ему людьми хоть несколько отвести свою скорбящую душу.

– Да, но он был тогда простым драгуном и моложе меня на много лет, а теперь какая между нами разница? – хотя и с грустью, но без малейшего проявления зависти проговорил старый слуга.

– Но как же он так далеко ушел? – спросил хозяин.

– Через карты и через женщин, – проговорил вполголоса майор, вытянув вперед шею по направлению к хозяину и полагая, что при таких предосторожностях он охранит от всякого соблазна присутствовавшего при этом разговоре мальчугана.

Хотя Фридрих не имел никакого понятия о карточной игре, а тем менее мог себе представить ту огромную и бешеную игру, какую вел Левенвольд в Петербурге, и хотя он, по своему детскому возрасту, не в силах был без постороннего истолкования домыслиться, каким образом можно через женщин выходить в знатные люди, но тем не менее, как это часто случается в детстве, слова майора «женщины» и «карты», хотя и без сознания их настоящего значения, запечатлелись в памяти Фридриха вместе со столь часто повторявшимся в доме отца его именем Левенвольда, о котором говорили как о необыкновенно счастливом человеке.

---

<sup>3</sup> Кнастер – сорт табака.

– Да и что для нас, немцев, значит военная служба? – как бы спросил самого себя с оттенком грусти старый рубака. – Разве мы служим нашему отечеству? Мы служим только тому знамени, под которое то сегодня, то завтра поставит нас слепая судьба.

Майор быстро выдернул изо рта трубку, положил ее боком на край стола и, загремев палаши, встал с кресла и вытянулся во весь рост.

– Я верую и правдой служил тем знаменам, под которыми находился, – торжественно проговорил он, подняв к потолку правую руку, как для присяги. – По повелению моего все-милостивейшего государя данную ему военную присягу я перенес на его величество короля шведского. В сражении под Полтавой меня взяли в плен русские, но не захватили меня, как труса, – я лежал на поле битвы с простреленной ногой и без памяти, ошеломленный ударом сабли по лбу. Плен при таких не позорных ни для какого воина условиях освободил меня от обязательства перед королем шведским, и я получил полное право выбрать себе новое знамя.

Так как майор произносил все это с горячностью и убеждением, стоя на своих длинных ногах, то хозяину показалось неприличным оставаться сидя, и он счел нужным также встать и при этом наставительно подмигнул мальчугану, который вскочил со своего стула; таким образом, вышло нечто торжественное.

– Его величество царь Петр Алексеевич, – продолжал майор, – умевший ценить славу и понимавший несчастье людей, обласкал нас, пленных, и предложил тем, которые могли считать себя вправе отречься от присяги королю, вступить в его царскую службу. Я был свободен и с чистою совестью присягнул военному знамени русского царя; до русских же мне не было, собственно, никакого дела, я их и знать не хотел, но по повелению царя я всегда и на всяком месте сумел бы умереть за него, как следует честному солдату, и соблюду этот долг до тех пор, пока буду служить знамени, которому присягнул.

– О, я знаю, ты честный служака, – подхватил хозяин, обращаясь к майору, медленно, со стуком палаша опускавшемуся в кресло.

– Мне, впрочем, русская служба не совсем чужая; еще дед мой служил в иноземном войске в Москве при тамошнем царе, – не помню теперь, как его звали, – да убежал оттуда, – продолжал майор.

– Значит ты, дорогой Ульрих, не в него пошел. Плохой он, видно, был служивый!

– Нет! – с жаром вскрикнул майор. – И я то же самое сделал бы на его месте. Дед мой был обязан повиноваться только воинскому уставу, а ему вдруг захотели отрезать нос...

Хозяин изумился, а мальчуган восторженно и с напряженным любопытством наострил уши.

– Отрезать нос? – сдерживая с трудом подступивший к горлу хохот, спросил хозяин.

– Да, ему хотели отрезать нос по указу главного московского попа, которого называли патриархом, – с негодованием заговорил майор, – и хотел его так наказать за то, что он курил табак, ну а такому закону он не обязывался подчиняться. Он должен был повиноваться только своему начальству, а тут, как оказалось потом, вмешались, по подозрению, русские попы. Что они за командиры немцам?

– Да, да, совершенная правда, – поддакнул хозяин.

Майор хотел было продолжать, но его собеседник готовился разразиться хохотом. По лицу хозяина уже начало скользить судорожное подергивание – предвестник неудержимого хохота. Он хотел как-нибудь предупредить его взрыв подходящею шуткою, так как засмеяться только рассказу майора было бы крайне неприлично.

– А большой был нос у вашего дедушки? – вдруг спросил хозяин и захохотал уже во все горло.

Мальчуган, который до сих пор слушал рассказ Шнопкопфа не без ужаса, вдруг на всю комнату прыснул от смеха.



– А ты, сшенок, как отваживался смеяться над законом? – вдруг на ломаном русском языке обратился майор к Фридриху, грозя ему пальцем. – Я буду тебя научивать, как следует уваживать закон! – с запальчивостью гаркнул майор.

Мальчик, не понимая, на каком языке так грозно заговорил майор, вскочил, оторопевши, с места, а хозяин от изумления разинул рот.

Майор, строго взглянув на своего собеседника, принялся объяснять ему то, что сказал по-русски Фридриху, и стал внушать, что дисциплина требует, дабы молодые люди не позволяли себе издеваться над тем, что устанавливают или требуют старшие, кто бы они ни были, хотя бы и русские попы, и что если он, майор, мог осуждать закон, как человек взрослый, порядком поживший на своем веку, то все же молокососы, подобные Фридриху, должны держать себя чинно при старших и только почтительно слушать, что говорят эти последние, не выражая при этом даже знаков одобрения, а тем еще менее имеют они право выражать знаки порицания.

Хотя и должно было показаться слишком странным, что немец-майор вдруг, ни с того ни с сего, заговорил с Фридрихом по-русски, но это объясняется очень просто. Подогретый уже разговором о святости воинского долга, майор невольно перенесся мыслью в ту среду, в которой он вращался уже двадцать восемь лет, – в среду своих подчиненных из русских, и начал в каком-то полузабытии делать нагоняй Фридриху на русском языке по привычке, так как этот язык почти исключительно употреблялся им в подобных случаях. Нельзя, впрочем, не добавить, что раздражению вспыльчивого майора поспособствовала и насмешка над дедушкиным носом.

Шнопокопф мог быть признан одним из главных типов немецких воинов прошлого века. Мог он, вместе с тем, – при отсутствии в ту пору так называемых ныне «политических принципов», – считаться и типом простого, честного солдата. Надобно сказать, что в это время мелкие владельцы разрозненной Германии обратились, между прочим, в поставщиков «пушечного мяса». В их резиденциях беспрерывно слышались и наигрывание охотничьих рожков, и грохот барабанов, и под эти надоедавшие местным жителям звуки и стукотню обучались военным экзерцициям<sup>4</sup> верноподданные герцогов, князей, маркграфов, ландграфов, пфальцграфов<sup>5</sup> и т. д.

Достаточно обученные военной выправке и военным приемам, они то оптом, то в розницу сдавались в временное распоряжение разным верховным правителям, имевшим надобность воспользоваться наемными воинскими силами. Такие сделки, – как обыкновенные имущественные сделки, – заключались своего рода нотариальным порядком. Один владелец обязывался другому выставить, под страхом денежной неустойки, к такому-то сроку такое-то число гренадеров, драгун, кирасиров, бомбардиров, драбантов и других всякого приспособления военных людей. Получивший же их во временное пользование другой владелец обязывался возвратить всю эту рать «в целости» ее собственнику, но так как болезни и баталии не обращали внимания на святость и на нерушимость подобных договоров о сохранении чужой собственности, отданной только на время, а не окончательно, то в договорах об этом постановлялось, что настоящий владелец должен за утрату или порчу его воинства получить известное денежное вознаграждение. Весь могущий произойти при этом ущерб был расписан по статьям с немецкою аккуратностью. Постановлялось, что за polegшего «на поле чести» фендриха должно быть заплачено столько-то, за ефрейтора столько-то, за капрала столько-то и т. д.; провиделась также возможность различных увечий и поранений, причем производима была предварительно их оценка. Ценились тут руки, ноги, глаза, зубы, нужные солдату, чтобы скусывать ружейный патрон; перечислялись тут и другие увечья, делающие всякий воинский чин неспо-

---

<sup>4</sup> Экзерциция – упражнение, учение войск.

<sup>5</sup> Маркграф, ландграф, пфальцграф – правители германских княжеств.

собным к дальнейшему отправлению его боевых обязанностей. Затем уши и нос не входили в оценку, так как истинно храбрый воин мог бы обойтись и без них.

В одну из таких ратных поставок попал и Шнопкопф, понявший уже слишком свято свою обязанность умирать или быть искалеченным ради денег, полученных его августейшим повелителем. Он усердно бил тех, на кого его натравливало начальство, и, в свою очередь, не раз был бит и мят сам куда как больно, собственно, ни за что ни про что. Под Нарвой его, несмотря на победу со стороны той рати, к которой он принадлежал, вдобавок к той ране, которую он получил в бок, вздули еще шибко прикладом; под Полтавой его придавили чем-то тяжелым и стукнули саблей вдоль лба. Но все эти раны не шли у него в счет, и Шнопкопф, вспоминая о них, только радовался, что имел случай выполнить свой священный долг перед тем знаменем, которому он принес присягу, хотя и недобровольную. Битва под Полтавой безупречно освободила его от прежней, слишком невыгодной для него присяги, и он, достигнув теперь в русской службе майорского чина, был по-своему доволен и если с некоторою грустью и вспоминал разницу между собой, незаметным еще майором, и блестящим гофмаршалом Петербургского двора графом Левенвольдом, красавцем и записным игроком, то вспоминал лишь как о примере, наглядно поучающем, что у судьбы есть и свои балуемые чада, и свои пасынки, к которым она относится совершенно равнодушно.

После русского окрика на легкомысленного немчика и внушения, сделанного его весельчаку-родителю насчет необходимости внедрять дисциплину в юные сердца, а также после согласия со стороны отца о пользе такой заботы, разговор весьма естественно перешел к вопросу о будущей судьбе Фридриха. Отец хотел приспособить сына к мирным сельским занятиям, но майор твердо и красноречиво настаивал, чтобы отец отдал будущего юношу в военную службу. При этом он растолковал, что военная служба в России – дело для немцев очень подходящее, и что если при нынешних условиях посвятить ей себя смолоду, то можно уйти куда как далеко – можно попасть не только в генералы, но, пожалуй, добраться и до фельдмаршала.

– Много немцев служит в русских войсках, но их в солдатах мало, почти все они состоят в офицерах, и немало есть также из них и полковников и генералов, – говорил Шнопкопф. – Фридрих найдет себе в Петербурге хорошую немецкую компанию. Вот еще недавно учреждены в Петербурге два гвардейских полка, конный и Измайловский, в которые хотят принимать исключительно немцев. Да что и говорить – живется нам в России не худо! Фельдмаршал Миних родом из Ольденбурга, а первое лицо при ее величестве, его светлость герцог Курляндский – немец из ваших краев; а потом наберется еще много и других наших единоплеменников, состоящих в больших чинах.

– Да вот хоть бы один из моих земляков, – не без гордости вставил хозяин, – генерал Балк, как высоко зашел; значит, служил исправно.

Гость не поддержал на этот раз хозяина. Он не ответил ничего, но, вспомнив историю Монсов и не слишком приглядный брак Балка с Матреной Монс, закусил нижнюю губу и отрицательно помотал головою, а на его строгом и честном лице выразилось неудовольствие. «Помоему, следует служить вовсе не так, чтобы дойти до генеральского чина, – подумал майор, – чин этот надо брать или в сражении, или на учебном плацу, а не иными способами».

– Через дочь свою генерал, как у нас говорят, и с царским семейством породнился, – продолжал хозяин, довольный тем положением, какое занял в России лифляндский дворянин фон Балк.

– Да, это правда, – равнодушно пробурчал майор, – царь Петр выдал его дочь Наталью за двоюродного брата своей жены, господина Лопухина, человека очень богатого.

– Вот оно как! – радостно крикнул отец Фридриха. – Когда я, по твоему совету, буду посылать моего сына на службу в Петербург, то непременно достану ему письмо к госпоже фон Лопухиной от ее здешних родственников, господ Лилиенфельдов. Она станет оказывать

Фридриху свое покровительство, и вот, дорогой Ульрих, ты увидишь, как сынишка мой далеко пойдет! – И заботливый папаша весело захохотал при этом полною грудью.

– Прежде чем искать ему дамских протекций, – сурово проговорил майор, – пусть постарается заслужить расположение своего военного начальства.

– Да ведь ты, любезный мой приятель, возьмешь его под свой надзор?

– И сделаю из него исправного солдата, если ты мешать не станешь. Будет дурно служить и не помогут увещания, так примусь и за фухтеля<sup>6</sup>. Шутить я не люблю.

– Ой! Ой! О! – вскрикнул хозяин, которому показалось, что и по его спине гуляет это исправительное орудие.

– Фридрих Бергер! – громко и повелительно крикнул Шнопкопф, встав с кресла.

– Фридрих Бергер! – еще повелительнее и еще громче позвал к себе майор мальчугана, который, после заданной ему русско-немецкой остротки, поспешил улучшить благоприятную минуту, чтобы убраться от грозного майора.

Шнопкопф между тем надел перчатки и шляпу, подтянул пояс у палаша и принял внушительную позу в ожидании появления своего будущего питомца, который вскоре после второго зова в сильном волнении предстал перед майором.

Между тем старик Бергер в недоумении посматривал на майора, который в эту минуту казался ему и смешным и грозным, так что он и сам не знал, что ему следует делать – хохотать или трусить.

– Ты должен на первый зоф являться по своему нашальству, – внушительно по-русски сказал Фридриху майор. – Нашальство требует тебя на караул, на тревог. Ты, как говорят русские, дерши всегда уши остро.

Майор эту затвержденную по-русски речь, беспрестанно повторяемую им на службе, перевел теперь по-немецки, желая показать своим знанием русского языка, что он не даром получает свое штаб-офицерское жалованье и что он хоть и немец, но умеет учить русских солдат как следует, то есть прежде разъяснит им, что требуется от них, а потом уж взыскивает за неисправность.

Мальчуган стоял словно вкопанный, но с тою распушенностью, какая бывает свойственна детям, которых мало школят.

Майор отступил задом шага на три от Фридриха, пристально смотря на него.

– Слю... шай!.. Смирно! – скомандовал он, но неожиданный новобранец не понял русской команды и, растерянный, смотрел на Шнопкопфа.

Между тем майор, объясняя по-немецки Фридриху, что он от него требует, подошел к нему и начал кулаком подталкивать его подбородок, поднимая толчками, – на этот раз, впрочем, очень легкими, – вверх его голову. Потом, взглянув на него и заметив, что голова мальчика наклонена несколько в правую сторону, он стал тем же способом подавать ее влево до тех пор, пока не привел в такое положение, в каком голова солдата должна находиться во фронте.

Отец Бергер, посматривая на то, как майор выправляет его сына, и незнакомый вовсе с предварительными приемами военной муштровки, только удивлялся, пожимая плечами и покачивая в недоумении головою.

– Ты должен будешь служить исправно, честно и усердно; если же станешь шалить и не слушать начальства, то тебя, как сказано в воинском уставе, – можно будет «весьма шифота лишать через аркебузирование»<sup>7</sup>.

Сказав это выражение, взятое буквально из русского воинского регламента, сперва по-русски, майор, для сведения и для надлежащего вразумения Фридриха относительно предстоящих ему по воинской службе обязанностей разъяснил эти слова и по-немецки.

---

<sup>6</sup> Фухтеля – удары саблей плашмя.

<sup>7</sup> Аркебузирование – расстрел.

Малый струхнул не на шутку, и из глаз его выступили слезы.

– Я тебе, мой любезный друг, сделаю из него хорошего служивого, – обращаясь к отцу, самоуверенно сказал майор, слегка погладив Фридриха рукою по голове в виде начальственного одобрения.

– Я поручу тебе его в Петербурге, и там ты заменишь ему меня, – с чувством сказал отец.

– Знай наперед, приятель, что я по службе спуску ему ни на волос не дам, а во всех других случаях буду защищать его от притеснений и нападков и никогда не забуду, что он наш брат немец! – И майор протянул свою правую руку для дружеского пожатия с растроганным хозяином.

Шнопокopf пояснил Бергеру, что он, майор, назначен военною коллегией для осмотра и проверки военного обоза в полевых полках, расположенных в Лифляндии и Курляндии, и что, проезжая для исполнения этого поручения невдалеке от его имения, не мог не взять несколько в сторону, чтобы повидаться хотя часок со своим старым другом. Затем он распрощался с хозяином.

– Когда на службе будешь прощаться со мною, – не преминул Шнопокopf внушить Фридриху, – то следует тебе держать руки по швам и сказать только: «Стравья шеляю, ваше высокоблагородие».

Майор, по существовавшему тогда по всей Европе среди военных людей обычаю, разъезжал и по проселочным дорогам не иначе как в полной форме. Только усевшись в бричку, да и то на ночь, он снимал с себя мундир, заменяя его, смотря по времени года, епанчою или тулупом, а треуголку – простою шапкой; но палаша не отцеплял никогда и возился с ним в дороге денно и нощно, твердо памятуя, что истинный солдат должен быть всегда в готовности к бою и что первым признаком такой готовности служит имение при себе надлежащего по роду службы оружия.

Майор выразил хозяину искреннее сожаление, что не мог засвидетельствовать своего глубочайшего уважения госпоже Бергер, его почтенной супруге, которая с двумя взрослыми дочерьми уехала в гости, и просил ее мужа исполнить это за него.

Гремя своим палашом на всю мызу, майор взобрался в бричку, уселся в ней на разостланном сене и отдал провожавшим его отцу и сыну прощальный поклон по военному уставу. Почтарь протрубил в рожок, хлестнул лошадей длинным бичом, и бричка быстро выкатилась из ворот на дорогу.

## II

Проходил незаметно год за годом. Майор Шнопкопф, доказавший не раз свою честность и добросовестность по делам службы и по казенному интересу, продолжал исполнять поручение военной коллегии в Лифляндии, осматривая полковые хозяйства расположенных там войск и собирая справочные цены по поставкам фуража и провианта. При этих поездках он, если только представлялась к тому какая-нибудь возможность, всегда навещал своего старого друга. Беседы между ними при каждом свидании шли на старый лад и оканчивались внушениями майора определить Фридриха в один из полков, стоявших в Петербурге, и отдать его под строгий надзор майора, так как подраставший мальчик, будучи на свободе, может до того избаловаться и испортиться, что потом, пожалуй, ни к чему уже не будет годен.

Самого Фридриха в это время майору муштровать уже не приходилось, так как отец, видя, что с взрослым парнем нет в доме никакого сладу, отправил его в Ригу. В Риге этот подросток, у которого уже начали пробиваться усики, сперва принялся только заглядываться на смазливых немочек, а потом и волочиться за ними. Он стал посещать пивные, погребки и разные увеселительные места, а когда приехал на каникулярное время на мызу, чтобы отдохнуть, и отец с своей стороны думал к нему обратиться с родительскими увещаниями относительно его разгульного образа жизни, то Фридрих и ухом не повел.

– Ты мне, батюшка, вместо того, чтобы читать пустые нравоучения, дай лучше побольше денег и отпусти меня в Петербург; там я и поступлю в кирасирский полк, – говорил отцу Фридрих, выросший, несмотря на свои только шестнадцать лет, чуть ли не на целую сажень. – В Ригу весною приезжал сын тамошнего аптекаря, пожалуй, не старше меня годами, а говорит, что он уже вахмистр, так что не сегодня-завтра будет корнетом<sup>8</sup>, а я-то что ж у тебя без толку кисну?

Собственно, Фридриху служить не очень хотелось. Каждый раз при мысли о службе перед ним вставал призрак грозного майора, посвящавшего его лет пять тому назад в воинскую службу толчками под подбородок, но ему показалось слишком обидным его положение сравнительно с положением аптекарского сына. На него, как на школьника, никто не обращал никакого внимания, тогда как на проходившего по рижским улицам кирасира, громко стучавшего палашом, заглядывались и дамы и девушки, и тут-то Фридриху отчетливо уяснились схваченные им прежде на лету слова о Левенвольде, сделавшемся счастливым человеком через женщин.

Если прежде Бергер не очень желал определять своего сына в военную службу, то теперь, видя, что Фридрих делается беспорядочным кутилою, он обрадовался заявлению его, хотя и жаль ему было расстаться с накопленными – правда, в очень умеренном количестве – русскими рублевиками и немецкими талерами.

– Поезжай с Богом в Петербург, все равно ты теперь не живешь на моих глазах, – вздохнул старый немец, – а я попрошу господина майора фон Шнопкопфа, чтобы он наблюдал за тобою. Я стану высылать ему деньги, следующие на твое содержание, а он будет выдавать тебе их по мере надобности и по представлении тобой отчетов о расходах.

– Как же! Так я и захочу зависеть от этого старого хрыча! Да я к нему и не пойду вовсе.

Старик только пожал плечами, озабоченный тем, как устроить ему в полку Фридриха без содействия и руководства со стороны уважаемого им господина майора.

– Добудьте мне только рекомендательное письмо к госпоже Лопухиной, а в Петербурге я сумею устроиться и сам, без Шнопкопфа, – сказал самоуверенно Фридрих, имея в виду счастливую долю графа Левенвольда, о котором ему так много толковали в Риге, и не принимая

---

<sup>8</sup> Корнет – чин младшего командного состава в кавалерии.

в расчет, что Рейнгольд Левенвольд был такой красавец, каких редко можно встретить, а он, Фридрих, был ничего более, как только широкоплечий детина, пригодный по своей топорности только для кирасирского строя, но никак не для дамских будуаров, где требуется не только видная наружность, но и своего рода соблазнительные приемы и вкрадчивые речи.

Отец не умел противостоять требованию сына обойтись без майора, но тем не менее, уведомив Шнопкопфа, что он, Бергер, отправляет своего Фридриха в Петербург для определения в кирасирский полк, просил высокоблагородного господина фон Шнопкопфа хоть издали наблюдать за Фридрихом и в случае какой-нибудь могущей быть беды пособить ему и выручить его.

Завязав в замшевую мошну отсчитанную на первый раз отцом сотню рублевиков, Фридрих отправился в Петербург в чаянии той же самой радужной будущности, какая некогда ждала в Петербурге его земляка Левенвольда. Не менее, если еще не более, чем туго набитую мошной, дорожил Фридрих и рекомендательным письмом, добытым его отцом, к Наталье Федоровне Лопухиной, рожденной Балк, племяннице или родственнице известной Аннушки Монс.

Попасть в дом Лопухиной в качестве рекомендованного ее родственниками лица было для Бергера большой заручкой. В ту пору в Петербурге – как это, впрочем, велось и всюду – сословность имела большое значение для того, чтобы занять на первый раз известное положение в обществе. Бергер не был по рождению дворянином, и ему трудно было бы втереться даже в круг своих земляков, служивших в Петербурге и под влиянием аристократических понятий сближавшихся только с равными по происхождению.

Майор был уже настороже в ожидании скорого появления в Петербурге молодого Бергера, считая, что он, майор, получил над ним хоть некоторую долю родительской власти, и воображая его таким же трусливым, как прежде, мальчиком, на которого стоит только прикрикнуть, чтобы подчинить его строгой дисциплине. Но молодой немец стал уже совсем не тот, каким знал его майор.

Бергер явился в Петербург в последние годы царствования Анны Ивановны, во время самого сильного могущества Бирона. Если положение, занятое в Петербурге Минихом, Левенвольдом и другими, хотя и менее важными, лицами из немцев, подстрекало их единоплеменников искать для себя в России и знатности, и богатства, и политического значения, то пример Бирона, вышедшего из ничтожества и ставшего на степень владетельного государя благодаря покровительству русской императрицы, еще более усиливал такое стремление, и Бергер явился в Петербург с твердым намерением так или иначе, но во всяком случае выйти на широкую дорогу, преодолевая все препятствия и не обращая внимания на те средства, которые могут привести его к желаемой цели.

В кирасирский полк он был принят беспрепятственно, поступив на службу, как это было тогда установлено для всех, простым рядовым.

Узнав об этом, майор Шнопкопф с нетерпением ожидал, когда к нему с должным респектом<sup>9</sup> явится новый солдат. Майор с удовольствием воображал, как он заметит Фридриху какую-нибудь неисправность в обмундировке или в амуниции и стойке перед начальством, как он станет учить его по-русски установленным на службе выражениям и как он, обойдясь с ним сперва по-начальнически, будет потом обращаться с ним, как с немцем, по-дружески. Долго, однако, приходилось ждать старому служаке такой отрады. Дни проходили за днями, а Фридрих не только не является к своему покровителю, но даже и не думал о нем. Старик Бергер неоднократно в своих родительски нежных письмах напоминал сыну, чтобы он явился к майору, который очень огорчается таким невниманием к нему Фридриха и пишет, что он никогда не ожидал такого к себе пренебрежения со стороны молодого человека, которого, как он это

---

<sup>9</sup> Респект – почтение, уважение.



очень хорошо помнит, он, майор, первый посвятил в основы воинских приемов и воинской субординации. Все напоминания старика об обидчивом майоре были, однако, напрасны, да и кстати ли было думать Фридриху о каком-то ничтожном майоре, если он надеялся и даже был уверен, что гораздо скорее и легче пробьет себе дорогу по службе иными, более надежными способами.

### III

Дом Лопухиных, в который так порывался открыть себе доступ молодой лифляндец, громко звучал по своей древности и по родству с царским семейством. Он был известен и по тем бедствиям, которые фамилия Лопухиных испытала несколько лет тому назад. Главный, недавний его представитель, брат царицы Евдокии Федоровны, Авраам Федорович Лопухин, человек надменный и невежественный, держал сторону царевича Алексея Петровича, но царь Петр расправился с ним жестоко: голова боярина отскочила на плахе 9 декабря 1718 года.

После него главным представителем фамилии Лопухиных остался родной племянник казенного, Степан Васильевич. Петр послал его учиться морскому искусству в Англию, и надобно полагать, что после этого ученья молодой Лопухин сделался хорошим моряком, так как он командовал фрегатом «Феникс». Служил он и по дипломатической части, но, несмотря на все это, личность его представлялась не только не выдающеюся из ряда личностей заурядных, но можно сказать, была ничтожной. Как моряк старого времени, он усвоил себе общую, господствовавшую тогда не только в русском, но и в других европейских флотах слабость – любил крепко выпить, и неумеренные его попойки отозвались с годами мучительными припадками подагры. Как моряк, он был нелюдим и обществу женщин предпочитал товарищеский кружок, в котором главным условием времяпровождения была изобильная выпивка венгерского. Изнуренный недугами, он не хотел оставаться в Петербурге и большую часть года жил в своей подмосковной деревне.

Несмотря на это, дом Лопухина и без хозяина мог бы быть открытым и приятным домом, так как хозяйка его, Наталья Федоровна, могла, по своей любезности и светскости, заменять отсутствующего мужа. Но ей было теперь не до того. Из любви к избраннику своего сердца она отреклась от всех светских развлечений, редко выезжала куда-нибудь, а у себя принимала лишь немногих близких людей.

Попасть в дом Лопухиной Бергеру, небогатому и без всяких родственных связей молодому человеку, было делом нелегким, а между тем ему именно этого всего более желалось. В кругу молодежи он много наслышался о Лопухиной. Говорили часто в Петербурге о том, как ее красоте завидовали не только дамы, но и цесаревна Елизавета, которая, в свою очередь, слыла сама замечательною красавицей и при этом была шестью годами моложе Лопухиной, так что, по-видимому, зависть к красоте хотя еще и молодой женщины, но у которой подрастали дети, наглядно выдававшие ее годы, зависть со стороны девушки, только что расцветшей, казалась неуместной. Рассказывали также, что петербургские дамы старались как-нибудь походить на Лопухину, подражая ее нарядам и манерам. Вдобавок к обворожительной красоте, главную прелестью которой были необыкновенно чудные, темные и томные глаза, Лопухина была умна и образованна, а такими придатками не могли похвалиться тогдашние русские барыни.

Быть может, много думавший о себе кирасир и мечтал покорить себе сердце женщины, о которой так много говорили в Петербурге, и тем самым обратить на себя внимание, так как вообще сердечные связи с такими женщинами, как Лопухина, придают в обществе мужчине своего рода почетную известность, и он становится предметом внимания других женщин. Сближение с Лопухиной могло представлять еще особое удобство: муж дал ей полную волю жить, как она хочет, так как женился на ней, а она пошла за него вовсе не по страсти. Чету эту обвенчал, не спрашивая ее согласия, сам Петр, и было неудобно отказываться от его сватовства, в особенности же когда он, будучи сватом, желал быть еще и маршалом на предстоящей свадьбе. Но если в этом случае муж Натальи Федоровны не мог быть для волокит никакой помехой, зато являлась со стороны другая помеха, которой, можно с уверенностью сказать, не преодолел бы никто.

Давно уже сошлась Наталья Федоровна с красавцем графом Левенвольдом и была верна ему непоколебимо. Со своей стороны, и он платил ей стойкою, незыблемою верностью, перед которою бессильны были искушения и красоты и богатства. Это было не одним только предположением, но и действительностью. Екатерина высватала Левенвольду богатейшую в России невесту, княжну Варвару Алексеевну Черкасскую. Левенвольд сгоряча не прочь был от такого брака, дававшего ему неисчерпаемые средства для мотовства, расточительности и картежной игры, до чего он был такой страстный охотник; но, одумавшись, он предпочел остаться по-прежнему кругом в долгах и очень часто без гроша в кармане для того только, чтоб не прекращать своих сердечных отношений к Наталье.

Но и помимо вопроса о самой Лопухиной лифляндчику хотелось втереться в ее дом уже и потому, что там он мог бы близко познакомиться с Левенвольдом, кружившим его голову своими успехами у женщин, и, хорошенько присмотревшись к нему, наладить себя на его образец.

Доступ в дом Лопухиной отчасти облегчался Бергеру семейной обстановкой хозяйки. Принадлежа по отцу к лифляндской фамилии фон Балк, служившей, впрочем, России уже в двух поколениях, она и по матери, Матрене Ивановне Монс, не была чужда Лифляндии, так как ремесленник или виноторговец Монс приехал в Москву из Риги. И над семейством Монсов разразились страшные удары чисто романтического свойства. В Аннушку Монс Петр Великий был влюблен до безумия, и только Екатерина заглушила в царе кипучую любовь к Анне. Старшую сестру Аннушки, Матрену Ивановну, Петр выдал за генерала Балка, и от этого брака родилась Наталья, на которой царь женил Лопухина. Мать Лопухиной пострадала тоже. Когда Петру сделались известны отношения Екатерины к красавцу Виллиму, или Вильгельму Монсу, состоявшему камергером при императрице, то Петр, не без основания предполагая, что Матрена Балк содействовала близости этих отношений, отправил в ссылку генеральшу, приказав дать ей на дорогу десять ударов кнутом. Виллим же, как известно, погиб на плахе, но не по обвинению в нарушении того верования, что «супруги кесаря не должно коснуться даже подозрение», а по обвинению в лихоимстве. Он был приговорен к отсечению головы за то, что будто бы, пользуясь доверием государыни, нарушил такое доверие, доставляя за взятки недостойным лицам должности и покровительство государыни, которая, будучи введена им в заблуждение, в свою очередь невольно вводила в заблуждение и самого государя.

Так как Бергер все-таки не являлся к Шнопкопфу, то майор стал стороною наводить справки о строптивом кирасире; но как велико было огорчение старого служаки, когда он узнал, что молодой солдат и без помощи его оказывался исправным и толковым служивым. Он прекрасно ездил на коне и, будучи фланкером, отлично держал линию и как нельзя лучше проделывал разные эволюции и палашом и карабином, так что вскоре за успехи по фронтовой части был произведен в вахмистры, а это звание в ту пору для человека, хотя бы и немца, но не имевшего, по-видимому, никакой протекции, могло считаться большим успехом по службе.

На представившегося Лопухиной, с письмом от госпожи Лилиенфельд, Бергера генеральша не обратила особенного внимания, да и после изящного во всех отношениях Левенвольда Фридрих, не более как только молодцеватый, но неотесанный кирасир, не мог показаться ей ни красавцем, ни даже привлекательным юношей. Бывая, хотя и редко, в доме Лопухиной, он мало-помалу приятельски сошелся с ее сыном Иваном, который в год приезда Бергера в Петербург был юношей лет восемнадцати. Бергер начал с того, что стал оказывать молодому Лопухину свое покровительство по части разных развлечений и сделался товарищем его походов. Последствием таких походов была тесная между ними дружба, причем Фридрих руководствовался двоякими соображениями: во-первых, Лопухин был богатый и тороватый юноша, и, следовательно, открылась возможность кутить на его счет; а во-вторых, Бергер мог рассчитывать, что такой знатный боярский род, как род Лопухиных, не останется же вечно в загоне и что со временем он, Бергер, может найти себе в своем юном приятеле сильного покровителя.

## IV

– Хотя я и немец, но я пошел бы арестовывать его высочество герцога Курляндского, – горячился майор Шнопкопф в кругу своих немецких родичей, находившихся в военно-русской службе. – Арестовать его приказал бы господин генерал-фельдмаршал граф Миних, мой главный начальник, – продолжал рассуждать майор, смотря с своей особой точки зрения на обязанности воинского звания, – и я не имел бы права рассуждать, правильно или неправильно распоряжается его сиятельство, и только должен был бы исполнить его приказание. Но я не осмелился бы никогда арестовать его высочество принца Брауншвейгского, так как он был генералиссимусом и, следовательно, верховным начальником всей военной силы в России, и об арестовании его никто войску приказывать не смел, а нужно было, чтобы его уволил от его высокой должности тот, кто имел на это право. Тогда бы я арестовал и его, но только в таком случае, если бы это приказано было в порядке дисциплины. Генерал, офицер и солдат, получивший приказание от своего начальника, не смеет рассуждать – следует или нет исполнять то или другое, но только обязан слепо повиноваться.

Собеседники майора не входили в разбор происшедшего в Петербурге переворота с такой стороны, но только жалели, что немецкое господство в России кончалось, – говорили, что русские вообще, а русские солдаты в особенности, ожесточены против немцев и что этим последним теперь будет жить в России плохо; что не лучше ли ввиду этого подобру-поздорову убраться отсюда. Но майор рассуждал иначе, утверждая, что он служит военному знамени, а до всего прочего ему никакого дела нет и что он должен оставаться на своем месте, пока не получит «абшида»<sup>10</sup> в установленном порядке. Вместе с тем майор громко порицал низложение престола принца Ивана Брауншвейгского, которому присягнуло не только войско, но и вся Россия, а вместе с тем порицал, конечно, и переворот, произведенный в пользу цесаревны Елизаветы.

В таком настроении, неприязненном новому царствованию, Шнопкопф проходил по одной из петербургских улиц, когда по другой стороне он увидел идущих двух молодых людей, дружески разговаривавших между собою. В одном из них майор тотчас узнал Бергера, другой, худенький и маленький, казавшийся почти мальчиком, был одет в партикулярное платье.

Майор сделал вид, что он не узнал своего давнего знакомого.

– Вахмистр! – громко крикнул он на всю улицу своим повелительным голосом; но оказалось, что вахмистр или не слышал, или только притворился, будто не слышит обращенного к нему зова, и ускорил свой шаг.

– Вахмистр кирасирского полка! – рявкнул майор еще громче и, не ожидая его поворота назад, сам пустился вдогонку улепетывавшему от него нижнему чину.

Все явственнее слышались Бергеру мерно отбиваемые майором шаги; все громче отзывались в его ушах и грохот палаша, болтавшегося около ног майора, и звяканье его огромных шпор, но Бергер и его спутник все-таки не останавливались. Наконец вахмистр признал невозможность скрыться от настойчиво преследовавшего его долговязого майора. Он приостановился и, став навытяжку, ожидал приближения грозного штаб-офицера.

– Кого ты имел честь встречивать? – спросил сурово майор.

Оторопелый Бергер молчал, видя перед собой того, кто еще в отцовском доме делал ему первые внушения о важности воинской дисциплины.

– Ты имел честь встречивать господин майор, и что ты должен был сделать? – говорил майор, колотя себя правою рукою в грудь и этим движением указывая на себя вахмистру. – И что ты долженствовал сделать? Ты долженствовал отдать мне воинскую честь, следующую

---

<sup>10</sup> Абшид – отставка.

по военному артикулу, – строго внушал майор, – и я за твою манкировку буду всаживать тебя на кордегард.

Вахмистр только моргал глазами.

– Господин фон Шнопкофф, – заговорил было по-немецки Фридрих.

– Теперь нет ни господин фон Шнопкофф, ни господин Бергер, а есть только господин, майор и вахмистр. Да и на слуху не говорят здесь по-немецки. По-немецки мы будем разговаривать потом с тобой в приват-компании. А вы, господин Фридрих Бергер, – начал вдруг на этом языке Шнопкофф, – избегали такой компании со мной.

– Простите меня за это, ваше высокоблагородие, но я, как нижний чин, не мог позволить себе явиться к вам, как к штаб-офицеру: вы могли принять это за дерзость с моей стороны, увидели бы в этом нарушение дисциплины.

– Неправда! Неправда! – замахал руками майор. – Я и твоему батюшке жаловался в письмах, что ты меня совсем знать не хочешь! Я после того, как ты явился бы ко мне с соблюдением всей дисциплины, принял бы тебя, как сына моего доброго приятеля. А с кем ты ведешь знакомство? – спросил майор, показав глазами на Лопухина, стоявшего несколько поодаль в ожидании, чем кончится столкновение майора с вахмистром.

– Это господин Лопухин.

– Господин Лопухин? Это знаменитая фамилия.

– Он сын генерал-поручика, а дедушка его по матери, лифляндец господин фон Балк, тоже генерал-поручик. Он был камер-юнкером при правительнице Анне, а теперь будет переименован в подполковники.

Расходившийся было майор присмирел и, оставив Бергера, подошел к его спутнику.

– Вы извините меня, ваше высокоблагородие, – сказал он, следуя тогдашней формуле обращения к лицам, которым оказывался почет, – что я позволил себе заставлять вас ожидать, но я должен был выговаривать нижнему чину, как напашальник. Вы сами были в военной слухе и знаете дисциплину.

– Никогда я в военной службе и не думал служить, – отвечал небрежно Лопухин.

– Но мне господин Бергер сказывал, что вы бываете подполковником.

– Так что ж, что меня переименовывают в подполковники? Я должен бы быть не только подполковником, но и бригадиром.

Майор, взглянув на юношу, требовавшего для себя таких высоких чинов без всякой предварительной службы в войске, только пожал плечами от удивления.

– Это мне бестии преображенцы подгадили, – продолжал Лопухин, – вздумали распоряжаться в государстве по своей воле. Их ли это дело?

Майор обрадовался, увидя, что он наткнулся на человека, который сходственно с ним смотрит на обязанности войска. Он сделал знак рукою, чтобы Бергер подошел ближе.

– В самом деле, на что это походит! У нас в Германии, – начал горячиться майор, – никогда не бывал и бывать не может, чтоб зольдатен приходили ночью во дворец и сняли с престол государь! Ай, ай, ай! – удивленно выкрикивал майор. – Да и приходили они на такой дело без знамени, как разбойники, и без своих шеф.

– Да, всем делом распоряжался выкрещенный жид Грюнштейн, сделавшийся теперь богатым и знатным господином, – перебил Лопухин. – Вот подите-ка!

На лице Бергера при воспоминании о Грюнштейне проявилось выражение досады, которую легко можно было объяснить завистью к счастью этого смелого пройдохи.

– Говорят, что хотели избавить от немцев, а теперь что? Немцев, правда, прогнали, а теперь стал всем распоряжаться Лесток, какой-то французишка из немцев, – вышло еще хуже. Эх-ма! – добавил Лопухин, махнув рукою.

– Зольдатен не должны были идти без своих шеф и без знамени! И как отваживался господин Лесток разрезывать барабан на кордегард, чтобы там не ударили тревог и сбор. Его

за это следовало тут же закалывать через штыка, а если нет, то потом весьма шифота лишить через аркебузирование, – настаивал майор.

– Потолкуйте-ка с ними... Они и вас разрежут... Пойдем, Бергер! – крикнул Лопухин, обращаясь к своему спутнику. – Прощения просим, господин майор. Так вы недовольны вступлением на престол Елизаветы Петровны? – вопросительно добавил Лопухин.

– Как же можно быть доволен, когда сломали всю дисциплину зольдатен... – Но Лопухин не дал договорить майору и, подхватив под руку Бергера, пошел своею дорогой, а майор зашагал в другую сторону.

– А вот бы донести на него, – как бы шутя проговорил Бергер, обернувшись назад и увидя, что Шноппкопф отошел от них уже довольно далеко. – Досталось бы ему порядком!

– Никак ты, Федор Федорович, с ума спятил? Разве может сделать это честный человек? Да ему и на ум такие подлые мысли приходить не должны! – сказал удивленным голосом Лопухин, торопливо выхватывая свою руку из-под руки Бергера.

– Тебя бы и в свидетели поставил, – как будто отшучиваясь, продолжал Бергер.

– Не пошел бы я на такое мерзостное дело и в свидетели, а если бы пришлось мне показывать, то показал бы против тебя, а не против майора. Он человек хороший, если говорит то, что думает, и выдавать таких людей не следует, хотя бы на пытке стали допрашивать.

При этих словах Бергер смутился, но Лопухин, не смотревший на него, не заметил его смущения.

– Явился было здесь доносчик между офицерами, некто Камынин, – продолжал Лопухин, – родственник вице-канцлера Головкина, и сообщил ему, что против бывшего регента составляют заговор, а Головкин поспешил передать об этом Бирону, и те, на кого был донос, жестоко пострадали, хотя и не были ни в чем виноваты...

– Ну а Камынину что было за это? – торопливо спросил Бергер.

– Разумеется, наградили, – с досадой проговорил Лопухин, – да что в том пользы? Все честные люди отворачиваться от него стали, у всех в презрение вошел, да и недолго ему благоприятствовало счастье: обоих его покровителей, и Бирона и Головкина, в Сибирь турнули, а затем уже никто с ним, как с доносчиком, никакого дела иметь не хотел, и на совести-то у него злое дело навеки осталось.

– Гм, – пробормотал себе под нос Бергер.

– Да еще к слову скажу тебе, Федор Федорович, уж коли валиться с коня, так валиться с хорошего, а что тебе дадут за жалкого майора? Уж поймал бы какую-нибудь важную птицу, а то эка невидаль – майор какого-то полевого полка! Да он и весь-то ничего не стоит!

Бергер призадумался.

– Ведь это, разумеется, я шутя говорил. Пойду ли я в доносчики! Худо ты, брат Ваня, меня знаешь, – проговорил он.

– Понимаю, что это шутка, да шутка-то глупая; ведал бы я, что ты думаешь это на самом деле, так я не только дружбы с тобой не водил бы, а видеть бы тебя не захотел. Скажу тебе только одно: вперед такими пакостными шутками не шути!

– Бросим этот разговор. Правда твоя, шутка эта мерзкая, а ты вот что мне скажи. Настенька Ягужинская, которую я видал у вас раза два в доме, кажется, родная племянница того Головкина, о котором ты говорил?

– Да, дочь сестры его Анны Гавриловны, которая была замужем за графом Павлом Ивановичем Ягужинским, а теперь, как говорят, выходит за Михайлу Петровича Бестужева-Рюмина.

– Эх, славная девушка! – лакомо проговорил Бергер.

– И девушка-то славная, и богатая. Вот бы тебе, Федор Федорыч, невеста – лучшей и искать нечего! Я знаю, через кого я бы ее тебе посватал.

– Куда уж мне до нее! – с притворной скромностью отозвался Бергер, думавший, однако, о себе самом слишком много.



– Как куда? Да чем же был лучше тебя, например, граф Андрей Иванович Остерман? Такой же бездомный немчура, как и ты, а женился же на Марье Ивановне Стрешневой, приходившейся еще царской родственницей, а ведь Ягужинские сами по себе неважные господа. Через некоторое время и ты в люди выйти можешь. Ты малый не промах.

– Где же выходить мне в люди! Вот третий год служу в нижних чинах. Попал в вахмистры, а в офицеры пробиться не могу, а уж, кажется, пора бы...

– Ну, ну, утешься, скоро и офицером будешь, а теперь пойдем поиграть на бильярде, а оттуда махнем в веселый дом<sup>11</sup>, посмотрим, что там есть новенького.

– Денег-то у меня нет, – вздохнул Бергер.

– Ну, об этом не беспокойся, у меня они найдутся, – сказал Лопухин, запуская руку в карман своего кафтана и звякая лежавшими там в кошельке червонцами. – Ты, брат, лихой товарищ на всякую гулянку, и на таких, как ты, молодцов денег мне тратить не жаль, а их у меня, слава богу, довольно.

Спустя недели три после встречи майора Шнопкопфа с вахмистром Бергером первый был неизвестно почему выписан из Петербурга в полк, расположенный около Воронежа, а последний был произведен в корнеты конной гвардии.

---

<sup>11</sup> 1 Веселый дом – увеселительное заведение.

## V

«От жены моей не токмо в супружестве непозволительные обиды имею, но и прочие, закону христианскому противные поступки ею чинятся», – читал секретарь, докладывая присутствию Святейшего синода поступившее в это духовное судилище прошение генерал-майора графа Павла Ивановича Ягужинского. По поводу этого прошения Синод выслушал также и экстракт из дела «о многих буйных и отвратительно-мерзких действиях графини Ягужинской в церкви, избах и на улицах». Синод приказал «инквизитору» допросить обвиняемую, а муж с своей стороны просил освященный собор «принять в рефлексию, что она женою его быть не может». Видно было, что прошение, поданное обижаемым не в меру супругом, настроил опытный в бракоразводных делах подьячий. В прошении этом были сделаны ссылки и на «Уложение», и на «Кормчую Книгу», и на «Духовный Регламент», и на «Воинский Устав», и на разные сепаратные указы, так что графине, при такой опоре ее противника на законы, трудновато было отвертеться от таких проступков, которые требовали строжайшего возмездия по уставам, как мирским, так и духовным.

Из дела оказывалось, что Ягужинская сбежала из мужнина дома к какой-то дьячей жене, а потом сбежала к «беспутной» княгине Щербатовой. После этих двух побегов отправилась она в Рождественский монастырь, но в какой – мужской или женский – этого в деле не указывается. Чтобы сильнее затронуть нежные чувства отцов освященного собора, Ягужинский заявил, что он, «ввиду бесприкладных непотребств, важных продерзостей и скаредных поступков» своей супруги, «боится за своих птенцов». В особенности же генерал напирал на то, что жена его ночевала у садовника, «и то ночеванье, – говорилось в прошении, – может причитаться за чужой дом; господствующим неприлично в рабских храминах, вне своих палат – кроме великой и едва ли случающейся нужды ночевать». В подтверждение справедливости этого сообщения приводилась «новая заповедь Иустинианова», гласящая: «Аще жена, не хотяща мужевии, вне дому своего, кроме родителей своих, ночь пролежит, брачному подвергают сотворяща тако разлучению».

В опровержение своей злоумышленности относительно такого поступка, расторгавшего, по закону благоверных греческих царей, не только в их владениях, но и в Петербурге брачные узы, Ягужинская, как докладывал Синоду секретарь, отговаривалась «меленколиею»<sup>12</sup>: «Была-де я в меленколической скорби, – отписывалась она, – а потому и за ночлежные мои поступки в ответе перед святыми отцами быть не должна».

Синод не расторгнул на этот раз брака, но только запретил с угрозами графине ночевать на будущее время вне дома. Но, должно быть, она не очень покорилась такому запрещению, потому что, докладывал секретарь, явилась «продерзостна и страшна». Тогда Синод взялся за нее покруче и определил: «Послать ее в Девич монастырь, в Александровскую слободу; а чтоб монастырю от ее житья напрасного истощанья не было, то продовольствовал бы ее супруг Ягужинский». Разумеется, что он не пожалел таких относительно ничтожных расходов на обуздание своей сожительницы. Девичий монастырь в Александровской слободе оставил по себе недобрую память. Он существовал еще во дни царя Ивана IV, который, как гласило предание, «вынужав оттуда благочестивых инокинь», сам в качестве игумена засел в этой обители со своими опричниками. Темные подвалы под монастырскую церковь были наполнены несчастными, обреченными лютым царем на муки и казни. В этой обители справлялись Иваном кошунственные потехи и игрища. Но теперь страшные предания уходили все далее и далее в глубь старины. Ушли из монастыря опричники, и взамен их снова заселили его жены и девы ангельского чина. Но и теперь от этой обители не веяло особенным духом кротости и

<sup>12</sup> «Меленколия», «меланхолия» – грустное, подавленное состояние.

милосердия, так как она была обращена в одно из главных мест заточения провинившихся в чем-либо мирянок. Со своей стороны, Ягужинский тем более мог рассчитывать на усмирение своей жены, что монастырь, куда ее засадили, считался «крепкожительным» в том смысле, что тамошняя мать игуменья никому спуску не давала, а непокорных всего чаще смиряла самым нещадным образом «шелепами», то есть длинными, в аршин с лишком, узкими, пальца в два с половиною, холстинными мешками, набитыми мокрым песком. При таком наказании смиряемую послушницу ее сестры во Христе обнажали настолько, сколько это нужно было для удобного восприятия виновною на теле такой карательной и исправительной меры. Наказуемую растягивали чернички на скамье или на полу, крепко придерживая за руки и за ноги, а потом принимались шлепать с обеих сторон упомянутыми песочно-мокрыми дубинками, дававшими себя чувствовать сильнее самой крепкой палки и самой свежей, гибкой лозы.

Не боялась, однако, как видно, Ягужинская и мучительных шелепов, потому что и под их грозой она «упорствовала, воздвигла церковный мятеж, церковнику учинила озлобление» и, мало того, даже «метала иконы и крест с мощами». Выбилась наконец мать игуменья из сил. Монастырь, заведваемый ею, о котором прежде шла далекая молва, что при побывке в нем самые злобные волчицы обращаются в смиренных овечек, стал терять теперь лестную для него известность. Принялись толковать, что тамошние инокини не покорствуют перед матерью игуменей и что вообще там теперь все обстоит куда как неладно.

– И ума я не приложу, преосвященнейший владыко, что мне делать с ее сиятельством, – жаловалась, разводя руками и затем поправляя на голове свой клобук, мать-игуменья посетившему святую обитель епархиальному архиерею, в то время, когда его преосвященство перед своим отъездом сидел за приготовленной для него прощальной закуской. – Уж и отец-инквизитор от нее отрекся. «Ничего, мол, с ней, окаянной, не поделаю», – говорил он мне и сестрам. Каленым железом и плетью пугал ее, а она не только ухом не ведет, но еще и на его особу с продерзостями накинута, да накинута, владыко, так озлобленно, что он, подобрав как есть рясу, поскорее от нее наутек. «Справляйтесь с нею, мол, как знаете», – махнул рукой, да и был таков. А чего только я и сестры с ее сиятельством не проделывали: и ежедневного корму, положенного от его сиятельства, по целым суткам не давали, а питали ее только сухим хлебом и водою; и в холодный темный подвал сажали, и в рогатке, и на цепи держали. Ничего не берет ее!

– Ну а шелепа-то в ход пускали ли или небось трусили по графской плоти ее отшлепать? – глубокомысленно спросил архипастырь, вытирая краем скатерти усы и бороду.

– Э, преосвященнейший владыко, у нас, в нашей богоспасаемой обители, ни на какую плоть не смотрят. Радеем мы о душе, а не о грешном теле. Для меня все равно, что графиня, что княгиня, что княжна, что знатная боярыня или боярышня; ведь известно тебе, что мы сами в ангельском чине состоим, так что же нам смотреть на мирские отличия. Суета в них одна, да и только. Ни на одну из непокорных не извели мы столько шелепов, сколько на ее сиятельство.

– Да ты, мать преподобная, дуй ее всякий день, авось проймешь как-нибудь, да посматривай, чтобы шелепа были хорошо увлажнены, а то как они подсохнут, то не так забористы бывают. Мне многие мати-игуменьи о том говорили.

– Уж что учить меня, преосвященный, – обидчиво пробормотала старуха. – Слава тебе, Господи, не первый год я игумствую и заготовку этих снарядов преотменно знаю. Трудно также бывает нам с нею, владыко, совладать; под шелепа добром нейдет, силою брать приходится. Вот еще на днях сестра Ирина на нее с ухватом ходила, – докладывала старица, указывая архиерею на здоровенную монахиню.

– Точно, ходила, преосвященный владыко, – подтвердила Ирина, кланяясь в пояс.

– Сам посуди, преосвященный, как нам трудно справляться с нею; силы у нас небольшие – бабы, а мужского пола употреблять на это нельзя; во-первых, у нас его и не имеется, а вторично – здесь обнажение телес бывает.

При этих словах молодая беличка, подававшая тарелку архиерею, вся зарделась от стыда.

– Доводить себя до этого не нужно, непорочность сохранять подобает, – промолвил наставительно архипастырь, направив свое поучение в сторону молоденькой белички и довольный тем, что имел случай преподать стыдливой юнице благое поучение косвенным образом и тем укрепить ее добродетель. – Дельно ты, мать Феодулия, рассуждаешь, – заметил владыка, – а все-таки потачки ей не давай, а для усмирения ее аки супостата ходи на нее всем христолюбивым воинством, – подсмеялся владыка.

– Слушаю, преосвященный, но наперед дерзаю доложить, что все бесполезно будет: под шелепами она ревет благим матом, лежа на койке – постонет, поохает, а там, глядишь, все ей нипочем. Задай ей сам, преосвященнейший владыко, хорошего трезвону, авось твоего святительского гласа послушает, – жалобно пропищала мать игуменья.

– Как же! Послушает она меня, если и перед Святейшим правительствующим синодом чиниться посмела буйственной! Не хочу я ее видеть; еще, чего доброго, мой архиерейский сан опозорит. Вожжайся с ней, как сама знаешь! А мне что с бабами путаться – не черничка она!

– Умилосердись над нами, сиротами, преосвященнейший владыко, убери ее от нас, не наводи срамоты на святую нашу обитель, – слезно проговорила мать-игуменья и бухнулась в ноги преосвященному. Примеру ее последовали находившиеся тут же другие монастырские власти: казначея, эклезиярха, хлебодарка, виночерпия и старшая уставщица.

– Господи, господи! Эко, подумаешь, наказание! – бормотала, приподнявшись с пола, мать-игуменья, поддерживаемая под локоть казначеею.

– С чего ты, мать Феодулия, так нюнишь? – заговорил, вставая из-за стола, Амфилохий. – Держи обитель в грозе, так и все в порядке будет. Вот царь Петр Алексеевич, так тот и стрельцов смирил.

– Да ведь, отец родной, он им головы рубил и, в страх другим, на колья тыкал.

– Ну и ты тыкай! – с досадою крикнул поддурманившийся после хорошей закуски владыка, не зная, что ответить на возражение Феодулии против своего бестолкового сравнения. – Пиши, впрочем, всепокорнейший репорт на мое имя, а я препровожу его на благораспоряжение Святейшего правительствующего синода. Ведь по его, а не по моему распоряжению прислана сюда эта озорница. Что я с ней поделаю? Пожалуй, велю ее предать всенародно анафеме, да будет ли из того какой толк? – говорил преосвященный, раздавая благословение подступавшим и падавшим ему в ноги монахиням и беличкам.

Поблагодарив Феодулию и сестер за радушный прием, преосвященный вышел на крыльцо, сел в свою колымагу и, напутствуемый трезвонном, медленно выехал из святых ворот.

– И он-то ничего не поделал, – твердила огорченная мать-игуменья, и сетованиям ее вторили сестры, расходясь по своим кельям.

Ни уменьшение «корма», ни рогатки, ни цепь, ни шелепа, ни инквизитор, ни «всепокорнейший репорт», отправленный игуменьею к преосвященному и им препровожденный на благоусмотрение Синода, не могли укротить «страшную и продерзостную графиню». Не подействовала бы, конечно, на нее, метавшую и иконы и кресты, и всенародная анафема, которой в былую пору без малейшего затруднения предавали в своих епархиях митрополиты, архиепископы и епископы тех, к кому считали нужным применить эту кару. Да не только архиереи, но и попы по своим приходам выкрикивали в церквах анафему своим врагам. С своей же стороны Синод не внимал новой заповеди Иустиниановой, объясняя, что ночлег Ягужинской у садовника в собственной ее усадьбе мог быть действительно истолкован «меленколичной скорбью» женщины, в свою очередь обижаемой мужем. Тогда этот последний прибег к тому решительному способу, который казался ему, несомненно, верным средством для получения развода, по каким бы заповедям и правилам этот вопрос ни разрешали.

Ягужинский представил в Синод самую наглядную, по его мнению, улику в нарушении его женою супружеской верности, а именно: письмо, написанное к ней из Риги каким-то влю-

бывшимся в нее немцем, и потому в присутствии Святейшего синода была прочитана следующая на исковерканном русском языке любовная цидулка:

«Хотя я все три дне твоих писем читал, то все мене не скушно бил, и я могу тебе правду и верна божица, что я сколку на свете жил, и сколко луди видал, никто мне так мил не был, как ты мой сердце дорогая».

С какою суровою важностью ни относились члены высшего духовного судилища к вопросу об отмене силы одного из таинств, установленных искони веков христианскою церковью, но все-таки при чтении этого безграмотного послания легкая улыбка скользнула под их усами.

– А чья подпись-то значится под письмом? – спросил секретаря один из членов.

– «Иван Ливорх», – доложил секретарь.

– А когда оно писано? – спросил тот же член.

– В тысяча семьсот шестнадцатом году от Рождества Христова, с пометою по немецкому летосчислению от одиннадцатого апреля, а по нашему – от тридцать первого марта.

– Ого! Какой стариной потрянул его сиятельство граф Павел Иванович, – засмеялся один из членов, проводя вниз по всей жидкой бороде сжатою в кулак рукою.

– Да и как по сему письму обвинить жену в супружеской неверности? Мало ли кого женщина произвольно обольстит своею красотою, а он вздумает ей на письме излагать свои сантименты? Может, она и аттенции к ним никакой не показала, – рассуждал один из заседавших.

– Ну, в настоящем припадке сказать сего нельзя, – перебил третий член, – из цидулы ясно видно, что и она с немчиком в грешных корреспонденциях пребывала; ведь он читал ее письма, а она, конечно, писала в них свои сантименты.

Начались вследствие этого прения, которые окончились тем, что Синод приказал архимандриту монастыря, соседнего с женскою Александровскослободскою обителью, в которой находилась Ягужинская, объявить ей «при всем соборе порицание за блуднические речи и отчаянные письма».

И эта попытка Ягужинского тоже не выгорела, и он, прежде веселый и беззаботный, теперь крепко приуныл.

– Что, брат Павел, ты больно уж присмирел? Видно, все с законной сожительницей возишься? – спросил однажды Петр входившего к нему Ягужинского.

Царь, занимавшийся в это время точением на станке, приостановил работу, не отнимая ноги от махового привода.

– Приладь-ка мне вот эту штуку, – добавил царь, указывая Ягужинскому на кусок дерева, подведенный под точило.

Ягужинский поспешил исполнить приказание государя, который снова завертел ногою колесо.

– Знаю я эти хлопоты. Повозился и я порядком с моею женою, и, знаешь, поведи я это дело законным путем, я не выиграл бы ничего. Эх, эти бородачи-черноризцы! Жизни человеческой не понимают или, лучше сказать, знать не хотят. А ты, Павел, вот что сделай: женись на другой, да и махни в Святейший правительствующий синод всепокорнейшим доношением, что так и так, я, мол, вторично женился, а потому и прошу всепочтительно дело мое о разводе, как ныне рассмотрением уже не требующеся, прекратить и сдать оное на хранение в архиву. Ты их сим так озадачишь, что они не будут знать, за что им и приняться.

– Объявят меня двоеженцем и будущих птенцов моих признают от блуда происходящими.

– А ты им отпиши, что вступил-де я в новый брак по указу его императорского величества, а я тебя им не выдам, – засмеялся весело Петр, – ведь я «верховный судия» сей коллегии.

– Невесты-то у меня теперь на примете нет, ваше величество, да кто же за меня и пойдет, или кто выдаст за меня свою дочь, когда все знают, что я состою в законном браке?

– О невесте не хлопочи, найду я тебе преотменную невесту, а кто она – узнаешь завтра, когда придешь ко мне об эту пору, и порадуешься. А теперь ты мне не нужен – ступай с Богом!

И государь, кивнув на прощанье Ягужинскому головою, принялся вертеть станок с прежним усердием.



## VI

На другой день Петр ранним утром, сев в свою окрашенную красной краской и запряженную в одну лошадку одноколку, отправился по обычаю в объезд по Петербургу. Заглянул он на производившиеся в Адмиралтействе разные корабельные работы, завернул в Сенат, а оттуда поехал на Васильевский остров к вице-канцлеру графу Гавриле Ивановичу Головкину. Хотя посещения государем частных лиц – начиная с дипломатических представителей иностранных держав в Петербурге и высших государственных сановников и кончая иностранными негодьями и разными мастерами – не были вообще в диковинку петербургским жителям, но тем не менее такие посещения всегда производили переполюх в том доме, куда неожиданно заезжал царь. Порою посещения его оказывались очень прискорбными для хозяина дома, так как Петр нередко заезжал к кому-либо для того, чтобы, приняв от него надлежащее угощение, с своей стороны угостить хорошенько хозяина дубинкой за что-нибудь нехорошее, узванное или замеченное царем на дороге.

Вице-канцлер, как и вообще все его родные, за исключением одной лишь дочери Анны, отличались мнительностью и нераздельною с нею робостью, а потому Головкин сильно всполошился, узнав о приезде к нему государя.

– А я, Гаврила Иванович, сватом к тебе приехал, – сказал весело государь встретившему его в сенях Головкину.

Хотя Петр был не всегда приятный сват, да и нельзя сказать, чтобы в этом случае у него была легкая рука, но верноподданнический долг требовал не только радостно принять такое, иногда вовсе неожиданное вмешательство Петра в чужие домашние дела, но и выразить свою рабскую признательность за столь великую честь.

Старик Головкин, в изъявление такого чувства, хотел упасть к ногам императора.

– Что ты, Гаврила! – гневно крикнул государь. – Вздумал падать ниц передо мною? Разве забыл всенародное объявление, что поклонение челом в землю достоин только единому Богу, а не достоин ни единому из человеков? Разве забыл, что не раз толковал я вам, что я не Бог, чтоб мне воздавать такие почести, какие воздаются ему, и что я только «приставленный от Бога истец за все дурное, сделанное России»? Эх, старина, – ласково добавил Петр, трепля по плечу Головкина, – верно, из памяти выжил.

– От необузданной радости хотел кинуться к освященным стопам вашим! – пробормотал Головкин.

– Нет, выжил ты, Гаврила Иванович, из памяти, и вот сейчас я это проверю. Скажи мне, да только без ошибок, сколько у тебя дочерей? – требовательным голосом спросил государь.

Разумеется, что Головкин очень хорошо помнил весь личный состав своего семейства, но такой простой, конечно, шуточный, а вместе с тем и загадочный вопрос со стороны государя, знавшего всю семью графа наперечет, заставил вконец растеряться оторопевшего сановника. В голове его быстро промелькнула мысль: не проведал ли что-нибудь государь о грехах его юности, не отыскал ли он какую-нибудь придаточную отрасль Гаврилы Ивановича, не выдает ли себя перед Петром за его, Гаврилы Ивановича, дочь какая-нибудь искательница приключений? Да и мало ли к чему мог вести вопрос, выраженный так странно.

– У меня, – заплетающимся голосом начал Головкин, – старшая дочь Анастасья – прости, Господи! – Наталья замужем за князем Барятинским, да две, Анна и Анастасия, в девицах.

– Ну, хорошо! А сыновей сколько?

– Иван, Александр и Михайла, – уже без запинки ответил Головкин.

– Верно. А из всех их уступи мне одну Аннушку, выдам я ее хорошо замуж. Приданого ей, разумеется, от себя не дам. Таких трат мне производить не из чего, сам я по себе человек, как ты знаешь, небогатый, так что ты будешь богаче меня. Так приданого ей, как сказано, от

себя я не дам, но мужа ее, если будет служить мне и отечеству исправно, как служил до сих пор, пожалуй деревнями – на это у меня есть полное право. Да не стану тебя томить попусту любопытством. Жених твоей дочери – Павел Ягужинский, человек мне любезный за его давнюю верность и испытанную преданность.

– Да ведь супруга-то его... – начал было робко бормотать Головкин.

– Хочешь сказать, здравствует? – перебил Петр.

– Или, быть может, уже Господу Богу душу отдала? – поторопился спросить Гаврила Иванович. – Долго ли умереть человеку!

– Нет, она жива и в Успенском монастыре на исправлении пребывает. Да что тебе до этого за дело? Коли я берусь быть сватом, то в дураки я не полезу и сделаю дело начисто, а не как-нибудь.

– Знаю это, государь, знаю, – отозвался Головкин, – но ты сам изволишь понимать, что родительское сердце чует лучше чужого.

– Правда твоя, правда! Но уж коли завести речь о сердце, то нужно спросить не отцовское иль материнское сердце, а сердце самой невесты. Хорош и я, – засмеялся Петр, – сам издал указ о непринуждении детей к бракам их родителями, а между тем устраиваю свадьбу, не спросивши невесту: хочет ли она идти замуж за намеченного жениха? Быть может, – кто знает их, девок! – ей уже мил и другой? Плохое дело подневольные браки, Гаврила Иванович, плохое дело. Вот хоть бы и я – что я сделал? Поневоле сочетал супружеством сродственника моего Степана Лопухина с Наташей Балк. А что она за бабенка! Просто загляденье, вся в мать, Матрену, пошла. Кажись, не налюбуеться ею, а вот поди – не любит ее Степан, да и он ей не люб. Хорошо еще, что он дает ей полную волю жить, как она хочет, а она обзавелась дружкой, который, кажись, и в жизнь ей не изменит. Да и как ей Левенвольд пришелся под пару – и он-то просто писанный красавец.

– Иногда, ваше величество, и в подневольном браке муж с женой исподволь сживаются, – заметил Головкин.

– А что, Гаврила, должно быть, ты такой брак затеваешь, если московскую старину стал подхваливать? – шутиливо спросил Петр.

– Замышлять не замышляю, а случиться может. Метит, сказать по правде, на младшую мою дочурку князь Никита Юрьевич Трубецкой, да не знаю, как сладится. Стар он для Настюшки. Спрашивал я ее как-то, хочет ли она пойти за него, а она отвечает: «Мне все равно, батюшка, как твоя воля будет». Она такая у меня мирная и покорная, а Аннушка, ваше величество, потверже будет; были у нее подходящие женихи, да упрямится, а младшую прежде старшей венчать как-то не приходится, из-за нее и Настенька в девках сидит. Уж не знаю, как полажу с нею, а насчет Павла Ивановича – кажись, он ей не противен. А в случае ее отказа ты, государь, ее заставь, для тебя она и против своей охоты пойдет за графа.

– С чего я буду ее приневоливать? Издал я, как тебе сейчас напомнил, указ против принудительных браков, издал и обязан наказывать нарушителей его, а от них же, Господи, первый есмь аз! – смиренно добавил Петр. – Берусь я за сватовство, да при этом забываю, что у нас воле царской воспротивиться никто не посмеет и что Аннушка, если не желает, все-таки выйдет за Ягужинского. Насильствую, пользуясь моею властью, ее девическую волю. Вот тебе и указ! Позови-ка ее ко мне, а я поговорю с ней сам, да вели ей, кстати, поднести мне и чарочку анисовки.

Головкин опрометью кинулся исполнять приказание.

– Да ты на пожар, что ли, спешишь, Иваныч? Не торопи ее, да и не говори ей пока ничего.

Хозяин ушел, а державный гость в глубоком раздумье начал расхаживать по комнате большими шагами.

– Прости, государь, дуру девчонку, если она замедлит явиться на твой зов, – доложил возвратившийся Головкин. – Не приедет она еще как следует: ныне бабы наряды по твоей

воле уж не такие стали, какие были у наших матерей и бабушек. В ту пору вскинула боярыня или боярышня на плечи ферязь да шугай, кикю на голову надела – вот тебе и все готово; а ныне не то: надень и фижмы, и роброн, и маншеты, а голову напудри да всякую всячину то пришпиль, то обтяни, то подтяни. А к тебе Аннушка неряхой выйти боится; знает, что ты во всем порядок любишь.

– Ну, ничего, что помедлит, ведь я приехал к тебе и не по команде ее к себе требую. Могу, значит, и обождать, а если девка принаряжается, так выходит, что пригляднее хочет казаться. На то самое и весь женский пол Господом Богом создан. Ты меж тем присядь со мной, и я тебе скажу вот что. В настоящую пору у нас всяких молодых балбесов, олухов, ветрогонов куда как много, а из них хорошей девушке жениха выбрать трудно. Вот я и надумал сам пристроить твою Анну, и кажется мне, что Павел ей будет под стать. Правда, он уже не первой молодости, не молокосос, идет ему под сороковку, но он детина статный, ражий и пригожий и никому из молодых ни в чем не уступит. Малый он добрый, только больно задорен, ну, да Аннушка возьмет его в руки и от излишних запалов удерживать станет, а он, намаявшись до усталости с первой женою – с такой бабой, с которой не может быть ни ладу ни складу, – будет крепко любить вторую свою жену – добрую, кроткую и рассудительную. Будет и для Павла удобство: сердце у него горячее, любит он своих птенчиков, а Аннушка, пока они подрастут, заменит этим сироткам их мать-негодницу. Впрочем, я сам потолкую об этом с Аннушкой и, ей-ей, ни к чему ее приневоливать не стану.

Прежде чем успел досказать Петр эти слова, дверь в ту комнату, где он сидел, приотворилась и между дверями показалась голова Аннушкиной няни. Вслед за тем дверь распахнулась настежь, и на пороге показалась вторая дочь графа Головкина – Анна. Никто не назвал бы красавицей эту бледненькую и худенькую, но вместе с тем и чрезвычайно стройную девушку. Ее светлые волосы, свитые в большие буки, опускавшиеся на плечи, были слегка посыпаны пудрою, и иметь такие волосы пожелала бы каждая девушка. Ее высокий рост и ровная, твердая поступь как бы противоречили той кротости и той мягкости, которые выражались в ее больших темно-серых глазах, и в тонких нежных чертах ее лица, и в хрупкости ее стана. Она несла в руках на серебряном подносе такую же чарку, штоф анисовки и несколько крендельков, обычную закуску государя в так называемый «адмиральский час».

Вместо прежних приниженных московских поклонов, которые отвешивала в подобных случаях почетным гостям ее бабушка, а отчасти еще и мать, Анна развязно, без всякого жеманства, сделала государю немецкий книксен и подошла к нему.

– Здравствуй, девочка! – ласково сказал Петр Аннушке, – вот какую красавицу я почти что сам на руках выносил! Помнишь, как я тебя, маленькую, вверх подбрасывал, аль забыла?

– Нет, государь, я всегда помню твои к нам превеликие ласки, не забыла и твоих гостинцев. Баловать ты меня изволил.

– Поставь-ка поднос на стол да поцелуй меня.

Анна подошла к Петру, он взял ее за подбородок, пристально взглянул ей в глаза и поцеловал в лоб.

– Погладил бы я тебя, Аннушка, по старой привычке по головке, да вишь какой шевелюр ты взбила, память его боюсь.

– Не бойтесь, ваше величество, коли и память изволите, так ведь мне шевелюр мой взобьют, – игриво отвечала девушка.

– Какая она у тебя, Гаврила Иваныч, и прыткая и складная, – сказал Петр, присматриваясь к Анне, – недаром же она слывет первой танцоркой в Петербурге. Любишь танцевать, Аннушка?

– Даже и очень.

– И я в молодости любил танцевать. Бывало, смотришь в Москве, в Кукуевской слободе, как пляшут немцы, так в душе завидуешь им. Хотел было и я в пляс еще в Москве пуститься,

да все удерживался. Думал, узнают москвичи, что я пляшу, так на смех меня подымут, а смех пуще всего вреден для властедержателей. Пусть клеветут и бранят, как хотят, это перенести можно, а как высмеют – это уж негоже. Заговорили бы на Москве: «Царь пляшет!» Вот и конец всякому ко мне уважению. Подучил меня плясать тайком Лефорт перед первым моим отъездом в чужие земли. А вот ты теперь, Аннушка, послушай, что я рассказывать буду, – это вашей женской породы касается. Приехали мы в Кенигсберг, а там тем временем проживала маркиграфиня Байретская – бой-баба! Устроила она в честь мою препышную ассамблею и на этой ассамблее подвела меня к какой-то немецкой графинюшке: «Потанцуйте, мол, с нею, ваше величество». Вижу, немочка пригоженькая. Взял я ее «валец», по немецкому обычаю, за бока. Господи помилуй, думаю я, да что это такое: или у здешних немок ребра не так, как у других женщин? Знаю, что у всех идут ребра поперек корпуса, а у этой немки моей – вдоль, или, как говорят в геометрической науке, не горизонтально, а вертикально. Проплясал я с ней валец да и рассказываю моим спутникам о таком диве, а около меня немцы ну шептаться: что, мол, сказал царь? – «Да говорит, что у здешних немок ребра не такие, как у всех женщин». Все так и померли со смеху, а маркиграфиня после того каждый раз, как взглянет на меня, так и зальется хохотом без всякой удержки. Потом мне объяснили, что немки кенигсбергские переняли от французинок корсеты, сшитые на крепких китовых усах, и что корсеты эти называются у них шнурбрустами, ну а на ощупь китовые подпорки вокруг всего корпуса кажутся ребрами, да и только. Маркиграфиня не только похотела надо мною, но, как говорят, записала об этом казусе в своем «юрнале»<sup>13</sup>, а шутники переиначили мои слова и говорили, будто я пустил о немках диковинную небывальщину.

Петр переглянулся с Головкиным, и оба весело расхохотались.

– Так вот, Аннушка, какие со мной оказии бывали.

– С необыкновенным человеком и бывает необыкновенное, – находчиво отрезала Аннушка.

– Эх, ты смотри, воструха! Прикусишь язычок, как я тебя выдам замуж. Ведь я затем и приехал к твоему отцу, чтобы тебя сватать.

– Знаю я, государь, что ты к нашей фамилии и ко мне милостив и, наверное, высватаешь мне хорошего человека; а не полюбится он мне, так знай наперед, что я ни за что с ним под венец не пойду, да, впрочем, ты и сам перечить своему указу не будешь – было бы тебе это и грешно и стыдно! – спокойно проговорила Аннушка.

Головкин изумился такой развязности своей дочери и замямлил что-то, желая оправдать ее резкую речь, но Петр не дал сказать ему ни полслова.

– Ай да молодец-девка! – с живостью воскликнул государь. – Вот люблю таких, которые мне прямо режут в глаза правду-матку! – И, вскочив с кресел, он крепко обнял смелую девушку и несколько раз поцеловал ее.

– Хочу я женить на тебе Павла Ивановича Ягужинского. Скажи мне по душе, мил он тебе или нет? – спросил государь, взяв Аннушку за руку и с участием глядя на нее.

– Что таиться: мне он мил, да человек он женатый, так о супружестве с ним не приходится девушке и думать. Если бы божеские законы не противились с ним браку, то я пошла бы за него.

Петр призадумался. Видно было, что слова прямодушной и рассудительной девушки произвели на него сильное впечатление. Он уже не сказал ничего о сватовстве и, переговорив только о некоторых делах с Головкиным, простился с ним и с Аннушкой.

«Эх, ведь что я в самом деле затеял – сватать жениха при живой его жене. Впрочем, что ж ведь! Как говорит пословица: „И на старуху бывает проруха“», – думал государь, влезая в одноколку.

---

<sup>13</sup> В недавно изданных «Записках» маркиграфини рассказано об этом случае.

## VII

Предположив посватать Ягужинского к Анне Головкиной, Петр не сказал ничего о той невесте, которую он наметил для своего любимца, да и излишне было бы говорить об этом. В Петербурге давно знали, что Павел Иванович страстно влюблен в Анну, но отвечала ли она ему любовью или хоть особенным сочувствием – насчет этого трудно было догадаться. Дочери Головкина были для того времени очень хорошо образованы, и в обществе, когда было нужно, они отличались той сдержанностью, которая никогда не обнаруживает оказываемого кому-либо особого предпочтения. Анна со всеми мужчинами была одинаково обходительна, мила и любезна, хотя в душе и отдавала преимущество перед всеми ловкому, красивому, веселому и остроумному Ягужинскому. Он считался в Петербурге лучшим танцором, а она – первой танцоркой, и когда они начинали танцевать вдвоем, то гости обступали их вокруг, любуясь изящными движениями этой парочки.

По уму и по нраву Анна и Ягужинский близко сходились между собою: и он и она были живого характера, и отличительною их чертою была прямота, порою доходившая до излишней пылкости. Анна, полюбив Ягужинского и зная его несчастную супружескую жизнь, очень часто высказывала сожаление, что ему выпала такая горькая, невыносимая доля. Да и не одна Анна сожалела о добром малом Ягужинском. Почти все в один голос обвиняли в домашних его невзгодах не его, а его жену. Между тем на деле нельзя было винить ее, так как, собственно, Ягужинская была несчастная женщина с расстроенными умственными способностями. Но тогда на душевные болезни не только у нас на Руси, но и во всей Западной Европе не обращали никакого внимания. Запугивание, непреклонная строгость и жестокие истязания считались вернейшим средством излечения душевных недугов. Помешанных и сумасшедших за их бессознательные поступки наказывали гораздо строже, нежели людей, совершивших такие же и даже более важные проступки с полным, отчетливым сознанием всей их важности. Их сажали на цепь, приковывали к стенам, притягивали ремнями к койкам, а о наносимых им побоях и ударах плетью и палками и говорить нечего. Подобного рода меры применяли в прежнее время и к таким лицам, за которыми мог быть даже самый тщательный, самый заботливый уход. Так, например, помешавшегося короля английского Георга врачи предписали, при наступлении первых признаков бывшего у него временного помешательства, вздывать для врачумления палкой без всякой пощады, и один знатный английский лорд, принявший на себя эту спасительную обязанность, вместе с первым королевским камердинером практиковал некоторое время означенный способ лечения весьма успешно. Сохранилось письменное известие и о другом лице, которого таким же способом врачевал один из самых приближенных к нему любимцев и довел свое врачебное искусство до такой степени совершенства, что по временам одно только указание глазами на тот угол комнаты, где стояла сплетенная из воловьих жил палка, просветляло рассудок больного, принимавшегося было дурить на разные лады.

Но если такие медицинские рецепты могли приносить пользу той или другой умственно расстроенной личности, то нельзя сказать, что они, прописываемые Ягужинской такими эмпириками, какими были преосвященный Амфилохий и преподобная мать-игуменья Феодулия, были применяемые с успехом к этой несчастной женщине. Видя себя в обители кротости и милосердия и в то же время испытывая там страшные истязания, она, при помрачившемся рассудке, перенесла свою вполне справедливую ненависть к своим мучительницам на всю окружающую их благочестивую обстановку. Ягужинская, ожесточенная матерью-игуменей и ее сестрами во Христе, «неистовствовала» в Успенском монастыре все сильнее, и неистовства ее выражались не только в «бесприкладных продерзостях» против монастырских властей, но и в опорочивании, хулении и надругательстве над всем, что относилось не только к «ангельскому чину», но и к обрядам церкви. «Всепокорнейшее донесение» о том смиренной Феодулии вла-

дыке Амфилохию не осталось без последствий. Синод снова вошел в рассмотрение дела Ягужинской и на этот раз, оставя в стороне вопрос о разводе ее с мужем как вопрос, однажды уже разрешенный и никем более не возбуждаемый, занялся лишь рассмотрением дела о «богохульственных мерзостях и продерзостных пакостях» графини Ягужинской.

Страшные обвинения были выставлены при этом в Синоде против несчастной женщины, говорившей и действовавшей под влиянием сильно пошатнувшегося рассудка, и случись с ней это до царствования Петра, в Москве, – быть бы Ягужинской, как злостной еретичке, богохульствовавшей под дьявольским наваждением, на Болоте или в деревянном срубе, или в железной клетке. Нельзя, однако, сказать, чтобы и отцы петербургского освященного собора отнеслись с чувством особого сострадания к помешанной. Из того монастыря, где она натерпелась и голода, и холода, и шелепов и где железные обручи и цепи натирали ей болезненные язвы, Синод 25 мая 1725 года приказал перевести ее в Федоровский Переяславский монастырь, где, разумеется, за нее взяли еще строже. Она не выдержала тамошней жизни и убежала ночью в лес, окружавший монастырь. Сестры под предводительством матери-игуменьи отправились на ловитву беглянки. При помощи соседних крестьян, созванных набатом на монастырской колокольне, они, как писалось во всепокорнейшем доношении местному владыке, учинили в лесу облаву и наконец в густой чаще захватили ее сиятельство. Ввиду всего этого Синод в конце того же года постановил: сослать графиню Ягужинскую в монастырь, «зовомый в Горах», находившийся в Белозерском уезде, близ мужского Кириллова монастыря, и в том монастыре заточить ее безысходно.

Таким безысходным заточением разрушался сам собою брак Ягужинского с первою его женою Анной Федоровной из рода Хитровых. Безысходная затворница не могла уже быть ни женою, ни матерью своих птенцов, и Ягужинский вследствие этого освободился без дальнейших с своей стороны домогательств от тяжелых для него брачных уз. Петра Великого в это время не было уже на свете, но благодаря начатому им сватовству Ягужинский знал о расположении или, вернее сказать, о любви к нему Анны Головкиной, и брак его с нею после синодского приговора мог состояться беспрепятственно.

Вступая с ним в супружество, молоденькая Ягужинская приняла на свое попечение падчерицу Настеньку, девочку двух лет. Она полюбила ребенка, как свою родную дочь, заботилась о ней и воспитывала так старательно, что впоследствии императрица Анна Ивановна, осведомившись об этом, пригласила Анну Гавриловну быть гофмейстериною и главной наблюдательницею своей племянницы, будущей правительницы Русской империи Анны Леопольдовны Мекленбургской.

Наступило царствование Анны Ивановны. Прямодушный и резкий, а отчасти взбалмошный Ягужинский не нравился ни верховникам, ни вообще лицам, имевшим тогда силу, и его спровадили посланником в Берлин, где он вскоре умер. Молодая еще в ту пору вдова его возвратилась в Петербург и здесь пользовалась большим расположением императрицы. Она жила так скромно, что самые злые языки не могли сказать о ней ни одного дурного слова.

Настенька между тем подрастала и хорошела и, как говорилось в старину, стала невеститься, то есть становилась взрослой девушкой, готовившейся явиться невестою. Мачеха, против обыкновения, горячо любила выросшую на руках ее падчерицу и приискивала ей жениха, не гонясь ни за знатностью, ни за богатством, и такие скромные желания она умела внушить Настеньке.

Не одну, впрочем, Настеньку любила Анна Гавриловна. Был у нее еще самый дорогой любимец, младший из трех братьев Головкиных, но бывший годами значительно старше своей сестры, граф Михайла Гаврилович. Редко можно встретить такую беспредельную привязанность, какую чувствовала к нему Анна. С самого детства она, не замечая некоторых его недостатков, видела в нем только такого человека, лучше которого во всех отношениях нельзя было найти в целом свете. Любовь ее к брату доходила до какого-то боготворения его личности.



Неразрывную дружбу сестры к брату поддерживала, между прочим, и жена графа Михайлы, графиня Екатерина Ивановна, рожденная княжна Ромодановская, приходившаяся внучатой сестрой императрице Анне Ивановне и отличавшаяся чрезвычайно добротой, кротостью, а вместе с тем, как потом оказалось, и чрезвычайно твердостью и редкою преданностью своему несчастному мужу.

Хорошо жилось семейству Головкиных при Анне Ивановне. Сам Михайла Гаврилович, робкий, мнительный и осторожный, умел отлично ладить с Бироном, разумеется, угождая ему на каждом шагу. Умная Ягужинская не могла не замечать приниженного положения своего брата перед временщиком, но, ослепленная любовью к брату, извиняла, как могла, его крайне непохвальную угодливость и только втайне скорбела, что он не занимает того независимого положения, которое, как ей казалось, должно было бы принадлежать ему и по его необыкновенным дарованиям, и по его редким способностям к государственным делам. Ослепление в этом случае сестры насчет почти бездарного и далеко не высоконравственного брата было слишком велико, но она не могла истребить в себе то нежное к нему чувство, которое вкоренилось в нее с малолетства. С тех пор как только начала она себя помнить, никто не представлялся ей более заслуживающим любви и уважения, как брат ее Михайла. Каждое его огорчение она принимала так близко, а пожалуй, еще и ближе, чем свое собственное, каждый неблагоприятный о нем отзыв раздражал ее гораздо сильнее, чем раздражала бы лично ей нанесенная самая тяжкая обида, которую она по своей доброте тотчас же была готова не только простить, но и забыть навсегда.

Падение Бирона не только не изменило почетного положения семейства Головкиных при дворе, но, напротив, еще улучшило его. Теперь между молодою, беззаботною правительницей и Михайлой Головкиным не было уже прежнего могущественного временщика, перед которым так принижался вице-канцлер, а после удаления от дел властолюбивого Миниха Головкин сделался на некоторое время первенствующим в России лицом, если только не брать при этом в расчет влияния саксонского посланника Линара, руководившего тайно всеми действиями правительницы. Но здесь была уже сердечная привязанность. В домашней жизни правительницы Головкины, а в числе их и Анна Гавриловна, они занимали самое видное место, и не проходило дня, которого бы не проводили они во дворце у Анны Леопольдовны, как самые близкие к ней люди. Ягужинская, впрочем, не вмешивалась в политические дела, довольствуясь оказываемыми ей правительницею уважением и дружбою, но относительно последней она должна была уступить первенствующее место любимой фрейлине правительницы, баронессе Юлиане Менгден, прехорошенькой, веселой и бойкой девушке.

Будучи ревностным сторонником правительницы и желая упрочить за нею верховную власть, Головкин вместе с графом Линаром, которому Анна Леопольдовна предалась всею душою, принялся хлопотать, чтобы мать малолетнего государя была провозглашена самодержавною императрицей. Он прочитывал церемониалы коронаций императриц Екатерины I и Анны Ивановны и по этим образцам готовился уже составить новый церемониал для венчания в Москве на царство императрицы Анны II Леопольдовны. Казалось, все шло успешно, но дворцовый переворот, произведенный Елизаветой Петровной с помощью одной только роты гренадер Преображенского полка и при пособии золота со стороны французского посла в Петербурге, известного маркиза Шетарди, разрушил все замыслы графа Михайлы Головкина.

По вступлении на престол Елизаветы Миних, Остерман, Левенвольд, приговоренные к смерти, хотя и были избавлены ею от казни, но тем не менее были отправлены в Сибирь, в отдаленную суровую ссылку. В числе знатных сановников, низверженных новою государынею, был и граф Михайла Гаврилович Головкин. Елизавета преследовала его не только за преданность бывшей правительнице, но и за внушения, делаемые им Анне, — постричь Елизавету в монашество и засадить ее на вечное заточение в какой-нибудь отдаленный монастырь. Вице-

канцлер, избавленный от плахи, был отправлен в вечную ссылку под Якутск, в пустынный поселок, носивший непривлекательное название Собачий Острог.

Не столько падение семейства Головкиных, конфискация их обширных имений и всего движимого имущества и предстоявшие им в будущем забвение и ничтожество поразили Анну Гавриловну, сколько сокрушала ее страшная участь, постигшая так неожиданно ее любимого брата Михайлу, свергнутого с высоты величия. Часто и в воображении, и во сне представлялся он ей, изможденный и горем и лишениями, опозоренный, привыкший с детства к удобствам и роскоши, а в зрелые годы – к особому почету. Анна Гавриловна не переставала плакать и терзаться о нем и, конечно, не могла относиться дружественно к главной виновнице ее злополучия – императрице Елизавете, забывая, что брат ее, будучи во власти, вовсе не мягкосердно относился к участи цесаревны и без сострадания обрекал на вечное заточение молодую женщину, желавшую пожить на воле, повеселиться и насладиться земными благами.

Если изменилось прежнее, завидное для многих положение Анны Гавриловны, то то же самое должна была испытать и ее падчерица, Анастасия Павловна Ягужинская. Если еще и прежде Анна Гавриловна не готовила Настеньку к блестящему замужеству, то теперь об этом нельзя было и думать. Молодая девушка, при своем сиротстве и с отцовской и с материнской стороны, считалась как бы принадлежащею к семейству Головкиных и разделяла его недавнюю счастливую участь, а теперь ей приходилось разделять и разразившуюся над ним беду. Никто из видных петербургских женихов не решился бы в ту опасную пору, – когда кара, которую должен был понести один виновный, распространялась на всех его родных, – никто не решился бы предложить свою руку девушке с опальным родством, да вдобавок к тому же не слишком богатой. Такой смельчак едва ли отыскался бы в тогдашнем русском обществе.

Еще до ссылки графа Головкина с домом его сестры Ягужинской познакомился через своего близкого приятеля Ивана Лопухина Фридрих Бергер, произведенный бог весть за какое отличие в поручики с зачислением опять в тот же стоявший в Петербурге кирасирский полк, в котором он находился до своего перевода в конную гвардию. Независимо от того, что Настенька крепко приглянулась ему, он рассчитывал и на то, что такой сильный в ту пору вельможа, каким был граф Головкин, принимавший постоянное участие в падчерице своей сестры, скоро выведет его в люди. С своей стороны, и Настенька, не гоняясь за блестящим супружеством, не прочь была выйти за молодого и статного офицера. Между Настенькой и Бергером начали мало-помалу устанавливаться близкие, почти дружеские отношения.

Когда несчастье постигло семейство Головкиных, то Бергер на первых порах не уклонился от прежних хороших отношений с домом Анны Гавриловны Ягужинской, но при этом он имел в виду очень тонкие расчеты.

Первые месяцы нового царствования были очень тревожны. Неудовольствия против новых любимцев государыни – Лестока, Шувалова и Разумовского – и проявившийся ропот даже среди лейб-компанцев, которым, собственно, Елизавета была обязана своим восшествием на престол, наводили на мысль, что и ее власть не очень прочна. Эта мысль вызвала весьма последовательно другую мысль, а именно: что низверженная Елизаветой Брауншвейгская фамилия, имевшая всюду немало сторонников, может, пожалуй, занять свое прежнее место, и тогда все ее приверженцы, а между ними и один из главных – граф Михайла Головкин, так тяжело пострадавший за свою преданность правительнице, явятся не только в прежней, но и в еще большей силе.

«Надежда еще не потеряна, – думал честолюбивый немчик, – да, кроме того, хоть Настенька и не из богатых невест, но все же настолько есть у нее достатка, что на ее средства можно мне будет прожить безбедно весь век, и если повезет мне счастье, то уеду к себе в Лифляндию и проживу там важным господином назло тем, которые считают Бергеров людьми ничтожными».

## VIII

Еще при Петре Великом строитель Ладожского канала, знаменитый в свое время инженер и прославившийся потом своими воинскими подвигами как начальствовавший над русскими войсками Бурхард Миних, немец, родом из Ольденбурга, построил на том месте, где ныне стоит лютеранская церковь во имя апостолов Петра и Павла, небольшую и, как кажется, деревянную лютеранскую кирку. Он считался ее ктиторм и был самым почетным лицом этого лютеранского прихода, о делах и пользах которого он радел с большим усердием. Желая дать своим прихожанам рассудительного и честного пастора, Миних выписал откуда-то из Германии известного по своей благочестивой христианской жизни пастора Грофта.

В один из воскресных весенних дней 1742 года пастор Грофт произнес в этой церкви, по принятому им обыкновению, обширное поучительное слово. Внушая своим слушателям и слушательницам разные христианские добродетели, он в заключение очень сдержанно наметнул на то, что совпадающее с этим воскресным днем число праздновалось прежде в приходе с особенною торжественностью в честь одного из прихожан, которого, к сожалению, ныне нет среди молящихся.

Все присутствовавшие в кирке немцы и немки были чрезвычайно растроганы таким заключением пасторской проповеди. Они вспомнили, что на это число приходился день рождения фельдмаршала Миниха, томившегося теперь в печальном изгнании в отдаленном Пелыме. Многим как живой представился этот приснопамятный прихожанин – высокий, бодрый, с воинственной осанкой, начавший уже стариться мужчина, величая и повелительная наружность которого обращала на себя внимание каждого, кто его видел. Припомнилось также всем, как этот благочестивый прихожанин чисто лютеранского закала, сидя на своем почетном месте, под бархатным балдахинном, распевал зычным голосом на всю церковь псалмы. У многих расчувствовавшихся немцев, а в особенности у немок, навернулись на глазах слезы при этих грустных воспоминаниях, а одна старая немка-булочница, влюбленная без души в бывшего фельдмаршала, расплакалась навзрыд, и тщетно утешал ее муж, что герр граф фон Миних живет очень хорошо в Пелыме, что русские, наверно, без него никак не обойдутся и что если не в то, то в одно из ближайших воскресений она снова увидит господина фельдмаршала сидящим на своем обычном месте и услышит его голос.

Когда Грофт окончил свою речь и спустился с кафедры, многие из прихожан стали подходить к нему, дружески и почтительно пожимая ему руку и благодаря его в лестных выражениях за прекрасную и трогательную проповедь. Пастор, чрезвычайно довольный тем впечатлением, какое он произвел на свою паству, отправился спокойно домой, рассуждая на пути сам с собою о непрочности всего земного и заготовляя в голове новую проповедь на эту благодарную тему.

Во время богослужения посторонний зритель, пришедший в кирку не для молитвы, а только для наблюдений, непременно заметил бы среди многочисленного и довольно пестрого собрания богомольцев двух выдававшихся лиц. Один из них, худощавый старик, сидел на одной из задних лавок, уткнув свой нос в молитвенник, и ни разу не только не оборотил своей головы в ту или другую сторону, но даже не отвел глаз от листов своего старого «гезангбуха». Старчески разбитым, но, как было заметно, когда-то мощным голосом он с замечательной верностью слуха подпевал под гремевший в церкви орган. В старике этом нетрудно было узнать майора Ульриха Шнопкопфа, несмотря на происшедшую в нем перемену, так как в короткое время он постарел на целый десяток лет, осунулся чрезвычайно, а спина его сделалась сильно сутуловатой. И неудивительно, что так ослаб еще незадолго перед тем столь молодцеватый майор. В короткое время он испытал много горя: сперва перевели его в далекую команду, потом отняли ее у него, а вскоре за тем прислали «абшид», то есть отставку, в которой, по обычаю того времени, он был рекомендован всем «высоким потентатам» как честный и храбрый офи-

цер, с добавлением, что он может быть принят на службу всюду, «где он, по состоянию своему, счастья искать пожелает».

Но бедного майора, которому уже поздно было искать счастья, огорчал не столько «абшид», присланный из военной коллегии без всякой с его стороны просьбы, сколько внесение в означенный патент, что он, майор Шнопкопф, увольняется от службы за непригодностью к ней «по дряхлости лет». Также сильно огорчало его и неупоминание о ранах, полученных им при Нарве и при Полтаве, о которых, конечно, вовсе некстати было упоминать русскому военному начальству как о воинских отличиях. При чтении выданного Шнопкопфу патента можно было предполагать, что он был захвачен, пожалуй, как беглец с поля битвы. Но всего более огорчало его то, что он, как «абшидованный», то есть по-нынешнему, отставной, не имел уже права носить свой огромный палаш, с которым он так свыкся. Теперь майор, к крайнему его прискорбию, был уже совершенно устранен от всякого участия по внедрению дисциплины среди победоносного православного воинства. Не мог же он, идя без палаша, остановить на улице нижнего чина и распечь его на ломаном русском языке, с угрозой тем или другим артикулом «Воинского Устава», который теперь ему приходилось забыть навеки как знание, ни к чему уже не пригодное.

Через своего приятеля, служившего в военной коллегии по секретной части, майор узнал, что причиной всех его злосчастий был поступивший прямо в эту коллегия неграмотно написанный по-русски донос. Подробности этого доноса, то есть встреча доносчика с майором на улице в то время, когда он, доноситель, шел с одним из своих товарищей, и затем изложение обстоятельств, в сущности сходных с действительностью, но только с добавочными прикрасами и с приданием иного смысла разговору майора с молодым Лопухиным, явно показали, что доносчиком мог быть только Фридрих Бергер, пожелавший таким гнусным поступком обратить на себя внимание военного начальства.

Слушая рассказ о доносе, Шнопкопф выходил из себя и даже бесновался. Сперва он хотел вызвать Бергера на поединок, но потом сообразил, что с подлецами такой способ расправы не только непозволителен, но и признается унижительным по господствующим понятиям о чести. Затем майор хотел заколоть или застрелить Бергера, как презренного негодяя, но опять сообразил, что нападение на кого-либо с оружием без предварительного объяснения о причине, подавшей к тому повод, составляет своего рода низкий поступок, на который никогда не может решиться прямодушный солдат. Таким образом, оказывалось, что Бергер, хотя и несомненный доносчик, был неуязвим со стороны людей, чутко понимавших правила чести. Открыть же Бергеру причину вызова на поединок или неожиданного на него нападения было для майора невозможно, так как это повлекло бы к гибели того из его доброжелателей, который сообщил майору о поступившем на него доносе.

Другой молещик был с совершенно иным впечатлением сравнительно с Шнопкопфом. Он был молодой, здоровенный детина, довольно представительной наружности, в мундире поручика кирасирского полка, и, конечно, нетрудно догадаться, что то был Фридрих Бергер. Бергер засел на одну из первых лавок с своим, как было видно, близким знакомцем, одетым в мундир какого-то армейского полка, стоявшего гарнизоном в Петербурге. Вместо того чтобы быть внимательным к богослужению, Бергер беспрестанно вертелся на месте, заглядывая то в ту, то в другую сторону и не смотря вовсе в свой «гезангбух». Так как в лютеранских церквях искони строго поддерживается внешнее благочиние, то Бергеру нельзя было даже и шепотом разговаривать с своим соседом, а потому он, поглядывая в левую сторону, где на лавках сидели дамы и девицы, только подталкивал соседа локтем и показывал глазами на хорошенькую или миловидную замеченную им немку. Когда пастор начал говорить свою проповедь, то Бергер не обращал сперва никакого внимания на его душеспасительные поучения; но когда Грофт перешел к намекам на Миниха, то Бергер как-то радостно встрепенулся, наострил уши и даже

попридержал своего соседа, когда тот слегка подтолкнул его локтем, желая в свою очередь указать на общую их знакомую Лотхен.

При выходе из кирки Шнопкопф приостановился на паперти, ожидая в грустном настроении, не выйдет ли из кирки кто-нибудь из его хороших знакомых, кому бы он мог передать постигшее его горе и встретить хоть какое-нибудь участие к своей печальной судьбе.

Майору не пришлось долго ждать. Вскоре в выходных дверях показались Бергер и его сосед по церковной лавке. Бергер, завидев Шнопкопфа и притворившись, будто не замечает его, проворно юркнул в сторону и замешался в толпе, пристав с разными пошлыми любезностями к Лотхен. Но товарищ Бергера подошел к Шнопкопфу.

– Здравствуйте, господин майор, – сказал он ему, протягивая руку, – да что же вы без палаша? Неужели вы, такой исправный служака, забыли прицепить его?

Майор грустно покачал головой.

– Со мною, господин Фалькенберг, – начал он жалобным голосом, – приключилось большое несчастье! Я получил «абшид».

– Ах да, я слышал, да забыл... Мне что-то об этом говорил Бергер, – перебил Фалькенберг. – Бергер! Бергер! Где ты? – окликнул молодой майор, отыскивая глазами своего товарища среди все более и более редевшей около кирки толпы; но Бергер, укрываясь от Шнопкопфа, взял направо по Невской перспективе и был уже далеко. Он остановился только у Зеленого, нынешнего Полицейского моста, поджидая, когда подойдет сюда Фалькенберг, которому тоже следовало идти этим путем.

– Вот кто счастливец, так это Фридрих Бергер, – заговорил Фалькенберг, продолжая свой разговор с Шнопкопфом. – Мало того, что он вдруг и так скоро по службе пошел, он еще отыскал себе славную невесту – графиню Ягужинскую, молоденькую, хорошенькую, и хоть не слишком богатую, но для Бергера, у которого за душой нет ни гроша, с таким хорошим достатком, что она просто для него находка! Да и хорошо он думает устроиться в супружестве. Если, толкует он, придется мне с женою жить ладно, то ей хорошо будет, а если она наскучит, так поеду в Лифляндию и, как тамошний уроженец, легко разведусь с нею. У нас развод не так труден, а по нашим законам, – рассчитывает Бергер, – все женино имение достается в распоряжение мужа, если от разведенной с ним жены есть у него дети. Вот так сметливый человек! – подхвалил Фалькенберг своего товарища.

– Если господин Бергер действительно так думает, как вы говорите, – вспыхнул старик, – то он должен быть отъявленный негодяй. Благородный офицер не позволит себе делать такие низкие расчеты, и если бы я имел честь быть знакомым в доме графини Ягужинской, то предупредил бы ее о том, какая печальная участь готовится бедной девушке. Мое нижайшее почтение, господин майор фон Фалькенберг! – сказал, раскланиваясь с ним, Шнопкопф и поспешил уйти от одного из близких приятелей Фридриха.

Фалькенберг, так круто оставленный Шнопкопфом, направился к Зеленому мосту. Около него он сошелся с поджидавшим его Фридрихом, и оба они отправились обедать на Луговую, нынешнюю Миллионную улицу, в немецкий трактир, который содержал пруссак Беглер. Трактир этот был в ту пору местом сходимки всех немцев, проживавших в Петербурге, – разумеется, за исключением тех, которые занимали высшие должности и потому считали неудобным ходить по трактирам. Там собиралась главным образом вся петербургско-немецкая молодежь и преимущественно молодые офицеры, проводившие время в разговорах за кружкой пива или за бутылкой дешевого вина, или за игрою на бильярде, в карты, домино, шашки и шахматы. Без устали любезничали они с молоденькими служанками из немок и в особенности льнули к игравшим на арфе или распевавшим свои песни тиролькам, которые, для таких прибыльных в ту пору занятий, стали в изобилии наезжать в Петербург чуть ли не с самого его основания. Было заметно, что в немецкой компании, собиравшейся в заведении Беглера, Бергер, несмотря на свой офицерский чин, не пользовался ни малейшим уважением. Все, даже его земляки, как-

то косо и недоверчиво посматривали на него; никто ничем его не потчевал и не подсаживался к нему для беседы, как это обыкновенно водится в отношении приятных знакомых или добрых товарищей. Все как будто избегали не только разговора с ним, но даже и встречи. Один лишь Фалькенберг считался его коротким приятелем, да иногда заходил с Бергером в трактир молодой Лопухин, чтобы поиграть с ним на бильярде. Бергер почти силой затаскивал туда молодого подполковника с тем, чтобы угоститься на даровщинку или попросить щедрого на деньги Лопухина заплатить долг по счету, записанному на Бергера.

– Что ты заставил меня так долго ждать? – спросил Бергер подошедшего к нему у Зеленого моста Фалькенберга.

– Да заболтался со старым Шнопкопфом. Рассказывал, как он неожиданно получил «абшид» без всякой с его стороны просьбы и должен был вследствие этого отцепить свой тяжелый палаш. Старик ужасно огорчен. Да из-за чего он так сердит на тебя?

– Почему же ты думаешь, что он сердит на меня? – не без смущения спросил Бергер.

– Вообрази, он как-то узнал стороною, что ты собираешься жениться на Настеньке Ягужинской, и теперь хочет написать безыменное письмо к ее мачехе, чтобы она не выдавала за тебя свою падчерицу, потому что ты, как он говорит, – извини за откровенность, – негодяй, плут, мот, картежник, пьяница, короче сказать, по его словам, ты самый скверный человек во всем мире.

Бергер не промолвил ни слова, стараясь сделать вид, что не обращает внимания на оскорбительные о нем отзывы со стороны майора.

На другой день с утра принялся Бергер что-то писать; долго писал он и много делал помарок, пока не окончил своего сочинения.

Между тем «абшидованный» майор терялся в соображениях, что ему делать, очень ясно сознавая, что без службы и без палаша он существовать не может.

«Пойти разве опять в шведскую службу, – думал он. – Вышел я из нее не бесчестным образом, да и обстоятельства для меня сложились так, что мне не приходилось воевать против шведов».

Когда однажды майор в таких размышлениях сидел в своей скромной квартирке и, по обыкновению, покуривал трубку, ему принесли повестку, в которой требовалось, чтобы он завтра утром с имеющимся у него патентом явился в полицейскую управу. В тревожном настроении отправился туда Шнопкопф, и тревога его была не напрасна. В полиции, по указу военной коллегии, отобрали у него абшид и выдали ему подорожную до русской границы с тем, чтобы он в течение трех суток в сопровождении приставленного к нему полицейского выехал из России. При этом его предупредили, что в противном случае с ним будет поступлено, как с ослушником, по всей строгости законов.

Разведывать о причине такой внезапной высылки было бы бесполезно. Бергер, которого вследствие сплетни Фалькенберга тревожило присутствие майора в Петербурге, знал очень хорошо эту причину. Сам же Шнопкопф приписывал свою высылку общей проявившейся среди русских ненависти против немцев. Майор наскоро собрал свои скудные пожитки и отправился к границам Курляндии. Совесть успокаивала его, что он в России честно служил тому знамени, которому присягал, что не его вина, если с ним поступили так безжалостно. Он признавал, что теперь свободен от присяги русскому знамени и может «по состоянию своему» искать счастье, где пожелает, хотя письменного на то удостоверения при нем уже не имелось.

## IX

В той комнате трактира Беглера, где за небольшим особым столом уселись обедать Бергер и Фалькенберг, шел шумный говор на немецком языке, представлявшем смесь всех германских наречий, которые в ту пору разнились одно от другого более, чем разнятся ныне. Но эта разница не нарушила никогда единомыслия петербургских немцев; в особенности же они спланивались тесно между собою теперь, когда им всем без исключения стала грозить, по-видимому, общая опасность со стороны русских. Русские, озлобленные против немцев при Бироне, а отчасти и при правительнице Анне Леопольдовне, теперь явно выражали свою неприязнь к немцам. Они за деньги и в чаянии щедрых наград первые принялись возбуждать преображенцев против правительницы и ее сына, разглашая, между прочим, что он даже и крещен не по православному обряду. Они склоняли солдат в пользу Елизаветы, как истинно русской царевны, при которой русским будет житься иначе, нежели жилось при немцах. Шварц и Грюнштейн, после удачного исполнения их замысла, были щедро награждены Елизаветой. Так, выкrest Грюнштейн за оказанные им услуги и преданность не только был произведен прямо из солдат в майоры, но еще получил до тысячи душ крестьян в вечное потомственное владение. Соответственная тому награда была пожалована и Шварцу. Они были первыми лицами, которым признательная Елизавета оказала свои царственные щедроты. В отношении же других своих пособников она в первые месяцы своего царствования была скупа, не желая, чтобы оказываемые им милости приняли как следовавшее им вознаграждение за действия в ее пользу.

Современники воцарения Елизаветы не знали ничего о происках французского посла маркиза де Шетарди, употреблявшего все усилия, чтобы, сообразно инструкциям Версальского двора, сделать в России государственный или, вернее, династический переворот. Правда, в Петербурге ходила не совсем благоприятная для Елизаветы молва, разглашавшая, что хотя при ней уже немцев и нет, но что все-таки вся сила находится по-прежнему в руках людей не русских, а француза Лестока и Разумовского, которого в народе ошибочно считали поляком, и Разумовский – человек незлобивый и безвредный – сделался в первое время царствования Елизаветы предметом общей и даже более сильной ненависти, нежели злой и пронырливый Лесток. Но так как низвержение Брауншвейгской фамилии было произведено солдатами при деятельном участии таких чисто русских людей, как Воронцовы и Шуваловы, и так как Елизавета не слыла сторонницей немцев, а симпатии ее к Франции народу не были известны, то все полагали, что теперь наступила такая благоприятная пора, что легко будет расправиться с сильно надоедавшими немцами.

Движение против них обнаружилось прежде всего в войске, так как солдаты, настроенные общим подъемом народного духа, хотели истребить своих начальников из немцев.

Невдалеке от столика, за который уселись Бергер и Фалькенберг, разместились за большим обеденным столом несколько близких между собою приятелей-немцев. Один из них, вернувшийся недавно из Финляндии, какой-то пожилой уже штаб-офицер, рассыпался в восторженных похвалах о командовавшем находившимися там русскими войсками генерале Ласси, рассказывая, как этот генерал смело и решительно усмирил солдат, разбушевавшихся под тем предлогом, будто новая государыня, ненавидевшая немцев, приказала истребить всех начальствовавших из этой породы и объявить, что отныне солдаты не должны им более повиноваться, а обязаны слушаться только русских офицеров.

Другой собеседник, тоже из военных, рассказывал подробности о том, как во многих полках солдаты оскорбляли и даже били своих начальников немецкого происхождения.

Все присутствовавшие приходили в ужас от этих сообщений, не предвещавших ничего доброго немцам, и в недоумении посматривали друг на друга, как бы спрашивая один другого, что же им придется делать, если продолжится или, что еще хуже, усилится еще более такое

враждебное отношение русских к немцам. В дополнение ко всему этому слышались со всех сторон хулы и порицания и России, и русскому народу, а также насмешки над его религией, свойствами, способностями, обычаями и нравами.

– Я вам вот что скажу, – начал вдруг громким голосом среди общего шумного говора, отзывавшегося сильным раздражением, сидевший также за столом седой старик с умным прямодушным выражением в лице. Легко можно было заметить, что к этому старику все собеседники относились с большим уважением, так как лишь только начал он говорить, все примолкли и стали слушать его с напряженным вниманием. – Я вам скажу, господа, – продолжал он, – что хулы ваши на русский народ несправедливы; я имею с русскими непрерывные сношения уже пятьдесят лет и прямо среди моих почтенных единоплеменников заявляю, что русские – народ добрый, ласковый и приветливый...

– Да вы, Карл Иванович, известный защитник русских, недаром даже и мы, немцы, называем по-русски «Карл Иваныч», – со смехом отозвался один из собеседников.

– Так почетно называл меня и сам царь Петр Алексеевич, а я сам, хоть и очень привык к русским, но в душе остался и останусь навсегда таким же немцем, каким я родился! – почти крикнул Майглокен, один из первостатейных немецких негоциантов в Петербурге. – Я желаю и даже завещаю моему семейству, чтобы тело мое после смерти было перевезено в мой родной Юнкгейм; но все это не мешает мне несколько отдавать должную справедливость русскому народу за его хорошие качества и осуждать то, что действительно в нем есть дурного. Я приехал прямо в Москву еще очень молодым человеком, бедным приказчиком к тамошнему купцу из немцев Августу Фрейлиху, и с каким пренебрежением, а вместе с тем и с боязнью смотрел я тогда на русских! Но вот что я скажу вам: когда при мне начались в Москве народные смуты, когда стрельцы и чернь беспощадно истребляли своих начальников и бояр, даже родственников царских, – мы, немцы, в своей мирной слободе оставались спокойны. Московские старожилы из немцев успокаивали нас, рассказывая, что даже в один из самых сильных бунтов, когда московская чернь грабила русских купцов и разорила правительственное учреждение, называвшееся «Холопий приказ», – никто из немцев не был ни ограблен, ни оскорблен русскими. Правда, был при мне убит один из иноземцев, доктор Гаден, но, во-первых, он был не немец, а жид, а во-вторых, убили его потому, что обвинили в чародействе, в отравлении царя Федора, а такое обвинение не спасло бы от смерти и природного русского. Не спорю, что злоумышленными подстрекательствами нетрудно довести русский народ до того, что он примется поголовно и беспощадно истреблять тех, на кого его станут натравливать, но разве не бывало того же самого и у немцев?... Вспомните-ка, сколько подобных ужасов происходило и в нашем отечестве, в дорогой и милой всем нам Германии.

– Это справедливо, – заметили несколько голосов, но зато все прочие собеседники сомнительно покачали головами и отнеслись к словам Майглокена не только с заметным недоверием, но и неприязненно.

– Положим, что сам по себе русский народ хоть и не любит, но и не ненавидит нас, но у нас в России есть опасные и злые враги – попы и монахи, – заметил один из обедавших.

– Не говорите и этого безусловно, господин Форслебен, – с живостью возразил Майглокен. – Знаю я и русских попов, и русских монахов. Правда, они смотрят на иноверцев враждебно, боясь, что мы сокрушим русских, или, как они их называют, православных, в свою нечестивую веру; но замечательно, что они с гораздо большим ожесточением преследуют своих же русских сектантов, так называемых раскольников. Не раз приходилось мне вести об этом беседу с русскими духовными лицами. Мы, например, имеем в Москве, да и в Петербурге, на одной из главных улиц этого города, свои храмы, тогда как русские сектанты не только справляют свои, собственно, те же православные обряды тайком, но уходят в леса, чтобы там иметь свои молитвенные собрания. Мало того, мы иной раз при нашем богослужении вмешиваемся и во внутренние дела России, – добавил, улынувшись, Майглокен. – Вот хотя бы сегодня гос-



подин пастор Грофт говорил в своей проповеди о досточтимом графе Минихе, и, конечно, все поняли, какой укол и какие порицания нынешнему правительству заключались в его проповеди. Надобно нам, господа, быть справедливыми и искренними.

– Проповедь господина пастора Грофта была превосходна, – заговорили разом несколько голосов.

– Это образец красноречия и глубины мысли, – подхватил учитель немецкого языка при церковной школе.

– Я нисколько не позволю себе порицать риторические и нравственные достоинства этой блестящей проповеди, но, господа...

– Вы, вероятно, хотите сказать, что подобного рода проповеди с политическим оттенком могут навлечь и на господина пастора и на его прихожан, сочувствующих им и ободряющих их, неудовольствие, если и не со стороны ничего не понимающего в этом народа, то со стороны правительства? – перебил толстый консисториал-советник с тревожным выражением в лице.

– Вы совершенно верно угадали мою мысль, господин Викинз. Представьте себе, что в это время находился бы кто-нибудь из русских, понимающих по-немецки, довел бы до сведения правительства о существенной мысли проповедника. Согласитесь, что в таком случае господину Грофту пришлось бы очень плохо. Теперь шпионство господствует здесь не менее прежнего; оно сильно поощряется; смело можно сказать, что нынче выходят в люди за доносы, и я уверен, что если бы кто-нибудь донес на господина пастора, и в особенности если бы таким предателем явился бы кто-нибудь из немцев, он щедро был бы награжден за особенную преданность настоящему правительству. Мы живем в опасное для нас время, но опасность грозит нам не со стороны самого народа.

При этих словах Бергера, внимательно прислушивавшегося к тому, что говорил Майглюкен, как-то передернуло.

– Теперешнее правительство только ищет предлога, чтобы за что-нибудь придраться к немцам, и нам как нельзя более следует остерегаться, чтобы не подать к тому какого-либо повода. Малейшая с нашей стороны неосторожность может очень дорого обойтись нам. На днях я слышал от верного человека, что духовника государыни, Дубянского, который имеет на нее такое сильное влияние во всем, что касается религии, подбивает против лютеран какой-то приехавший из города Владимира монах Варсонофий. Живет он теперь в Александро-Невском монастыре и распускает слух, что к нему являются разные святые, которые требуют от него, чтобы он пошел против лютеран и проповедовал бы народу об их поголовном истреблении и о разрушении лютеранских церквей. Разумеется, такой изувер может взволновать простых русских людей, а через духовника государыни он убедит и ее в необходимости – если не разрушения наших церквей, то все же в необходимости стеснить свободное отправление богослужения по нашему обряду.

Около этого предмета завязался между застольными собеседниками оживленный разговор. Они были уверены, что в обеденном зале не было никого из русских, так как все немцы знали один другого наперечет и тотчас же могли бы заметить постороннего человека, которого следовало стесняться при откровенном разговоре.

Бергер и Фалькенберг чувствовали, однако, себя неловко в этой компании. С ними никто из посетителей не заговаривал, но не по политическому к ним несочувствию, а потому что Бергер считался дрянным и сварливым человеком и беззастенчивым блюдолизом. Такое отчужденное и приниженное его положение среди «своих» сильно раздражало его, тем более что его постоянно грызло желание выйти в люди во что бы то ни стало. Он все более и более терял надежду на покровительство Головкиных, которые теперь находились в таком незавидном положении, что брат Михайлы Гавриловича Александр, бывший посланником в Голландии, решил навсегда со всем своим потомством отрешиться от своего отечества. Он перевел свои громадные капиталы в Амстердамский банк, утвердил в своем семействе лютеранскую

веру, и оно до такой степени отчуждилось от России, что возвратившийся в Россию при Екатерине II внук графа Александра, лютеранин по вере, не умел даже говорить по-русски.

Но если бы даже Головкины и сохранили их прежнее значение, то устроиться около них Бергер не мог рассчитывать с достаточною уверенностью. В том, что он, как молодой и статный офицер, мог, подделяваясь хитро к молодой девушке, полюбить ее, еще не было твердой заручки для брака. Сегодня Настеньке мог нравиться один, а завтра понравится другой, тем более что сильной и глубокой страсти тут не было, и молоденькой Ягужинской так же легко мог полюбить и другой приглядающийся по наружности молодой человек, как понравился Бергер, бывавший чаще других в доме ее мачехи.

Помимо этого, Бергер имел основание опасаться, что затеваемое им супружество легко может расстроиться и по особой причине: до Анны Гавриловны или вообще до семейства Головкиных могли так или иначе дойти слухи о разных неблагоприятных его поступках и об его развратной жизни. Особенно он этого начал побаиваться с той поры, когда сплетник Фалькенберг передал ему угрозу майора Шнопкопфа. Зная безупречную нравственность старика и его прямодушие, Фридрих опасался, что решительный Шнопкопф надумает, чего доброго, сделаться охранителем молодой девушки и из современного майора обратиться в средневекового рыцаря, считавшего защиту невинности одною из главных обязанностей своего звания. Поэтому Бергер и считал нелишним избавиться на всякий случай от майора уже известным ему, Бергеру, способом, и вследствие его гнусной проделки майор, по отобрании у него «абшида», был выпровожен на курляндскую границу под обычным в то время полицейским надзором.

Между тем честолюбивые искания все сильнее разыгрывались в кирасирском поручике. Он крепко досадовал, что ему не пришлось примкнуть к тем молодцам, которые способствовали вступлению на престол Елизаветы, и мучился от зависти, когда ему приходилось слышать рассказы о той великолепной свадьбе, которую справил саксонский жидок Грюнштейн в Москве и которая была удостоена присутствием императрицы, щедро одарившей невесту Грюнштейна и бриллиантами, и золотом, и серебром. Такое же мучительное чувство испытывал Бергер, когда до него порою доходили слухи о том, как благоденствует Шварц, хозяйничая в пожалованной ему обширной и богатой вотчине. Не без досады вспоминал он, что даже простые солдаты Преображенского полка, обращенные в лейб-компанцев, пользовались особым почетом, что они не только были пожалованы в офицерские ранги, но и получили поместья, тогда как он, Бергер, остался тем же поручиком и, промотав доставшееся ему от умершего отца небольшое состояние, должен был довольствоваться небольшим жалованьем, запутанный кругом в долгах и находясь очень часто без копейки денег, тогда как ему хотелось бы пожить в довольстве и пользоваться всем, чем может пользоваться человек в его годы.

## Х

Теряясь в бесплодных догадках, как бы получше устроиться и выйти в люди, неразборчивый в выборе клонящихся к тому средств, Бергер напал на мысль, что удобно было бы ему, как немцу, воспользоваться раздражением русских против его единоплеменников и, выделившись сразу из ряда этих последних, заявить себя правительству с самой что ни на есть благонадежной стороны. Как человек хотя и крайне плутоватый, но вместе и ограниченный умом и без всяких правил чести, он подумал, что при настоящем положении дел предательство может служить очень пригодным орудием для достижения предположенной цели.

«Если я укажу на политические подстрекательства пастором Грофтом его прихожан, то, без всякого сомнения, во мне увидят благонадежного человека, не думающего, ради государственных интересов, даже и о потачке своим единоплеменникам и единоверцам. Кажется, тогда я представлю такое доказательство моей преданности, сильнее которого едва ли можно найти. Непростительно было бы мне упускать такой благоприятный случай», – думал Бергер.

Раздумывая таким образом, Бергер хотя и желал предать неосторожно проболтавшего пастора, но с тем, чтобы устроить это предательство так, чтобы оно открыло ему доступ прямо к тем лицам, которые имели сильное влияние при императрице. Теперь в пустоватой голове кирасира, туманившейся вдобавок к тому нередко и пивными, и водочными, и винными парами, стали являться те небольшие переходы, посредством которых он, как один из самых усерднейших верноподданных, может дойти и до государыни.

Бергер, отчужденный от немцев, которые очень хорошо знали его как продувного малого, имел довольно обширное знакомство среди русских и у них мог проводить многое. Русские, по своему благодущию, относились к нему с нравственной точки зрения гораздо снисходительнее, нежели немцы, старавшиеся поддержать о своем небольшом петербургском кружке добрую молву относительно некоторых условий общественной жизни и личных отношений. С своей стороны, Грофт, в качестве обер-пастора, успел даже присвоить себе своего рода нравственно-духовную расправу над своею паствою. Разумеется, он не решался привлекать к своему суду более или менее чиновных лиц из ее среды, но простых немцев он нередко приглашал к себе для соответствующих вразумлений. Хозяева часто обращались к нему с жалобами на мастеровых, рабочих и приказчиков из немцев, прося пастора сделать им отеческие внушения и наставления. Нередко приходили к Грофту с жалобами мужа на жен, жены на мужей, отцы на детей. На петербургской немецкой колонии лежала та же печать общинного духа, какую вообще наложило протестантство на своих последователей.

Собираясь обнаружить перед подлежащими властями политическую неблагонадежность пастора, Бергер, одно из духовных его чад, видел в этом деле особенную важность, на которую, как он полагал, следовало ему указать в своем доносе, а именно – что пастор Грофт был вызван в Петербург бывшим фельдмаршалом Минихом, который отправлен за свои злокозненные замыслы против благополучно царствующей ныне государыни в отдаленную ссылку; что он, Грофт, был в дружбе с графом Остерманом, достойно наказанным за «злодейские поступки», и что при этих условиях он и в настоящее время может затевать разные злоумышления, готовить восстановление Брауншвейгской фамилии, а вместе с ее возвращением – и возвращение двух упомянутых злодеев. Короче, несмотря на свою ограниченность, честолюбивого кирасира хватило настолько, что он сумел представить дело пастора в таком виде, что оно будто бы грозило государству страшною опасностью и что он, Бергер, избавлял государыню от беды, почему в настоящем случае он являлся спасителем государства и его нельзя было оставить без особых отличий. «Важнее же всего, – думал он, – здесь окажется то, что такие предостережения идут от немца и лютеранина. Поступи так русский, донос его казался бы не столь важным».

Обдумывал также Бергер, через кого бы лучше всего можно довести о своем усердии до сведения императрицы. Сделать это через Лестока ему казалось не совсем удобным, так как Лесток – реформат, хотя и слывет безбожником. На Воронцовых, Шуваловых и Разумовского тоже рассчитывать было нечего: они занимаются совсем иными делами.

– Да что же я долго думаю, – спохватившись, ударил себя по лбу поручик. – А Варсонофий-то монах – чего же лучше? Он через государынина духовника представит мою бумагу императрице, и, быть может, она потребует меня к себе для личных объяснений.

В тот же день Бергер, который, как мы сказали, имел много русских знакомых, начал, как бы без всякой цели, расспрашивать у них об отце Дубянском и о монахе Варсонофии. Собранные им о том и о другом сведения оказывались для него чрезвычайно благоприятными. Ему рассказали, что Дубянский пользуется у государыни большим влиянием и что он неприязненно относится к немцам и в особенности к лютеранству. Сообщили ему также, что в Александро-Невском монастыре живет приезжий монах Варсонофий, считающийся человеком святой жизни и имеющий дар пророчества; что ему в монастыре, по внушениям духовника императрицы, оказывают особый почет; что к нему за благословением и за советами ездят и знатные русские господа и именитое русское купечество, а он им всем пророчествует, что русское царство вскоре постигнут большие бедствия за нечестие, которое разводит между православными «нечестивые люторы», что их давно бы следовало изгнать, а божницы их предать поруганию. Добавляли к этому, что и набожная императрица внимает таким вещим глаголам смиренного инок.

Императрица, собиравшаяся сама, после ссылки Шубина Бироном, уйти в монастырь и даже добровольно отдававшая в Успенском Александро-Слободском монастыре обстановку монашеского жития, любила окружать себя людьми, бывшими или только представлявшимися людьми благочестивой жизни, и отец Варсонофий, о котором столько наговорил ей Дубянский, был во многих отношениях под стать тому настроению, в каком находилась Елизавета.

Сообразительные люди могли легко догадаться, что то враждебное настроение к немцам и к их религии, в какое старался привести Елизавету Варсонофий, поддерживалось и лицами, бывшими к ней близкими. Все они желали избавиться от злого и заносчивого Лестока, который содействовал так много Елизавете в ее предприятии против брауншвейгцев, хотел управлять всем и всеми по своему произволу. Немногие, да и то слишком робко и уклончиво, решались не столько говорить ей прямо о Лестоке, сколько лишь намекать на то исключительное положение, какое занял при ней иноземец, бывший лейб-хирург, в обиду русским. Отцу Дубянскому он был не вмоготу не только по каким-либо государственным соображениям, но и потому еще, что он, как безоглядный болтун, порою дерзко затрагивал религию.

«Пусть отец Варсонофий, – думал часто Дубянский, – скажет напрямки государыне то, чего не посмеем сказать ей ни я и никто из ее приближенных. С грубого мужика за это не взыщется. Да и сам-то Варсонофий, как я заметил, парень ловкий. Пусть другие, как хотят, возьмется с Лестоком, а я уверен, что никто столько ему не навредит, сколько Варсонофий».

Приезжая часто в Невский монастырь, государыня после обедни бывала в келье Варсонофия и выходила оттуда растроганная, нередко с заплаканными глазами, и Лесток мог заметить, что после такой побывки она относилась к нему уже не с особенною благосклонностью и порою высказывала, что пора бы избавить Россию от всех иноземцев, и разумеется, что такие как будто невольные обмолвки государыни принимались за предвестие, что Лестоку несдобровать.

Мало-помалу Варсонофий, присмотревшийся к государыне и, таким образом, попри- выкший к ней, а следовательно – уже переставший ее бояться, стал постепенно забываться перед государыней. Он позволял уже себе журить ее, угрожая ей и жупелом, и металлом, и устрашал ее от имени Божия страшным воздаянием за ее прегрешения, если она будет непокорна его внушениям, идущим будто бы не от него самого, но от святой высоты. Он начинал входить в обширные права духовного отца, считающего своею обязанностью обуздывать стра-

сти и помыслы покорствующей перед ним овечки. Главным предметом укоров государыне со стороны этого изувера было то, что она слишком мирволит нечестивым иноверцам, которые только и помышляют о пагубе святой православной церкви и о распространении их дьявольских ересей.

На первых порах хитрый хохол Дубянский, земляк Разумовского, был очень доволен тем влиянием, которое он, вдобавок к своему личному, успел утвердить через Варсонофия над Елизаветой. Варсонофий в точности исполнял наставления, даваемые ему духовником, но, почувствовав свою силу, начал относиться иначе к своему покровителю.

– Да что ты, отец Федор, вздор-то городишь! Без тебя я все знаю. Голова-то у тебя, видно, без мозгов, – начал возражать Дубянскому Варсонофий своим грубым вологодским наречием в противоположность мягкому говору малоросса. – Да ты кто? Такой же поляк, как и приятель твой Разумовский; знаю я ваше отродье. Я и без тебя сумею сказать царице, что ей нужно творить для спасения ее души. Пусть она идет по моему пути, а ты в дела наши не суйся. Никто тебя о том не просит. Знай, сверчок, свой шесток...

Спыхватился отец Федор, что он слишком далеко завел монаха в доверие и благорасположение императрицы и что теперь пора бы и повернуть его вспять.

«Потерплю еще маленько, – думал Дубянский, – пусть он прежде спихнет Лестока, а там с Варсонофием уж я справлюсь».

Особенно встревожился Дубянский, когда Мавра Егоровна Шувалова, рожденная Шепелева, передала, что как-то однажды императрица сказала, что ей хочется побывать на духу у Варсонофия.

При этом известии отец Федор уразумел, что он, чего доброго, может остаться ни при чем по милости Варсонофия, и отправился посоветоваться к Разумовскому.

– А щоб его кием добре отсель выпихнуть на его Вологду, – посоветовал земляку Разумовский.

Дубянский объяснил Разумовскому неуместность такого простого приема в настоящее время, так как пока Варсонофий еще им очень нужен, чтобы сжить ненавистного Лестока, и что после того как Лесток спихнется, можно будет приняться за кий и распорядиться с Варсонофием. Разумовский, очень хладнокровно выслушав мнение протопопа, согласился с его доводом, вполне уверенный, что его собственное положение нисколько не зависит от Варсонофия, который, сверх того, вовсе не перебивает доходов, пожалованных ему императрицею, как могут перебивать высочайшие дачи, делаемые Дубянскому.

## XI

Собрав сведения о Дубянском и Варсонофии, Бергер решился толкнуться к последнему из них. Он рассчитывал на то, что чем необыкновеннее дойдет его донос до императрицы, тем более он будет иметь важность и тем большее значение получит в глазах государыни сочинитель доноса. «Ее непременно должно будет, – соображал Фридрих, – поразить странное соединение, ради государственных и ее личных интересов, молодого кирасирского офицера с простым русским монахом, и притом офицера из немцев, указывающего на свободомыслие своего пастора, пользовавшегося в Петербурге общим уважением. Такие подвиги не забываются, – думал Бергер, – они выходят из ряда обыкновенных. Я предупреждаю государыню о зловерных для нее замыслах, указываю ей на то, чего она не узнает от русских, открываю ей новую измену. Притом, – рассуждал Бергер, чувствовавший, несмотря на все нравственное свое падение, потребность в каком-нибудь, хотя бы самом слабом, оправдании, – я в сущности ничего не выдумываю, так как Грофт действительно был бы рад возвращению в Петербург своих могущественных покровителей Миниха и Остермана, хотя бы это не обошлось без низвержения с престола нынешней государыни. Помню я, что майор Шнопкопф, которого все считали честным человеком, не находил возможным изменить только знамени, а я, как лифляндец, присягал не только русскому знамени, но еще и на верноподданство нынешней императрице. Следовательно, если я укажу на угрожающую ей опасность, то я только выполню мой долг».

Так желал оправдать себя Бергер, упуская из виду, что он прибавлял к действительности много такого, что ее искажало и придавало чрезвычайную политическую важность проповеди Грофта. Бергер не хотел принять во внимание и то еще обстоятельство, что если бы его не мучило желание так или иначе выйти в люди, то он не придумывал бы тех непозволительных способов, к которым он прибегал теперь, и оставил бы пастора в покое.

Рассуждая сам с собою, Бергер с Луговой улицы, на которой он жил, вышел на Невскую першпективу. Эта улица – нынешний Невский проспект – не имела тогда ни малейшего сходства с тем, что она представляет в настоящее время. В начале ее стояло Адмиралтейство, на том же месте, где оно стоит ныне. Это было крайне неуклюжее здание, представляющее укрепление, окруженное валами и рвами; перед ним расстилался луг, служивший городским выгоном, на котором пасся скот. По обеим сторонам улицы, по направлению к Зеленому мосту, стояли небольшие каменные и деревянные дома впережку с садами, огородами, пустырями и пусто-порожними местами, то открытыми, то загороженными дощатыми заборами. На месте нынешнего Казанского собора стоял прежний Казанский собор, представлявший большую деревянную постройку – образец строительного безобразия. В этом соборе отправлялось богослужение в торжественные дни. Далее тянулись также дома и заборы до Аничкина моста; здесь по левому берегу Фонтанки строились, уходя все далее к взморью, загородные дома или усадьбы петербургских вельмож. На Невской першпективе, до Литейной улицы, которая вела к артиллерийским казармам, или светлицам, рос сосновый лес. В нем, как бы в виде продолжения «першпективы», была сделана просека, тянувшаяся вплоть до Невского монастыря, около которого вдоль левого берега Невы стали селиться оптовые хлебные торговцы, предки современных калашниковцев. На протяжении Невской першпективы до Знаменской церкви во многих местах были топи, сверх которых была настлана бревенчатая мостовая, а далее начинались «пески», шедшие до самого монастыря. Тротуаров около домов не было, и пешеходы пробирались или по тропинкам, проложенным около домов, или около заборов, или шли посреди улицы.

Движение по Невской першпективе было очень незначительно, гораздо менее, нежели на Васильевском острове и даже Петербургской стороне. Редко проезжали по першпективе громадные тяжелые кареты, запряженные шестеркой лошадей цугом, и такая упряжь показывала, что экипажи эти принадлежат «знатным персонам». Проезжали здесь также коляски и

колымаги, запряженные четверней, принадлежавшие лицам штаб-офицерского ранга. Чаще же всего показывались на перспективе парные и одноконные брички и тележки, в которых разъезжали лица обер-офицерского звания, купечество и духовные лица. По временам проезжали здесь и беговые дрожки, и существующие до сих пор двухколесные чухонские таратайки. Вообще тогдашний Петербург по постройкам был не красивее и по движению менее оживлен, чем нынешние наши уездные города. Освещение города было самое жалкое, только кое-где были поставлены на столбах да повешены на веревках, протянутых поперек улиц, тускло и недолго горевшие фонари. Ворота в домах русских, по перешедшему из Москвы обычаю, были на запоре и днем и ночью, и вдобавок к такой предосторожности, когда начинало смеркаться, на цепи спускали около домов дворовых собак. Рано ложившийся спать город всю ночь до самого рассвета оглашался их вытьем и лаем, протяжными окликающими часовых, грохотом трещоток и битьем в чугунные плиты или деревянные доски.

Невский монастырь вовсе не был тогда такою представительною обителью, какою является теперь. В то время он только что стал обстраиваться. Известный в свое время петербургский архитектор граф Растрелли начал по повелению императрицы возводить нынешний монастырский Троицкий собор с прилегающими к нему полукруглыми галереями, а также и митрополичьи палаты по образцу итальянских палаццо. Весь монастырский двор был загроможден камнями, кирпичами, бревнами и досками, и Бергер с трудом пробирался между грудами этих строительных материалов, отыскивая келью Варсонофия. Был послеобеденный час, и на дворе никого не было видно, так как вся братия после трапезы разошлась по кельям на отдых. Долго ходил по двору кирасир, пока встретил какого-то послушника, у которого он и спросил, как пройти к Варсонофию.

По узкой и крутой лестнице взобрался Бергер к той двери, на которую указал ему тотчас же скрывшийся послушник. Кирасир слегка постучал в эту дверь, но она не отворилась, и на этот стук внутри кельи не было никакого отклика. Он стукнул в другой раз посильнее, но также напрасно. Раздосадованный кирасир принялся стучать в дверь кулаком и греметь по полу палашиком.

– Что ты, дьявол, в дверь так ломишься? Нешто не знаешь, как к монахам в келью просятся? – отозвался за дверью грубый голос; но, услышав в сенях звяканье палаши и шпор, Варсонофий, вставший с постели, поспешил приотворить дверь.

– Я пришел к вам, господин Варсонофьев... – проговорил смутившийся от такой невежливой встречи поручик.

– Какой я господин Варсонофьев! И назвать-то меня не умеешь как следует. Я просто или отец Варсонофий, или, иначе, преподобный отче. Да что тебе, брат, от меня надо?

– Позвольте войти к вам, госпо... отец Варсонофий, – проговорил не оправившийся еще от смущения Бергер, – и я вам расскажу, в чем дело.

– Нагрешил, верно, а теперь ко мне за разрешением от грехов притащился? Да ты кто такой будешь? – придерживая Бергера на пороге, спросил Варсонофий.

– Поручик кирасирского полка.

– Значит, из тех, что на конях в железе ездят?

– Так точно.

– Ну, лезь, – проговорил монах, толкнув вперед рукою дверь, жалобно заскрипевшую на ржавых петлях.

Едва ли можно представить себе что-нибудь хуже того помещения, в котором обитал Варсонофий. Хотя архимандрит и предлагал ему в монастыре очень приличное помещение, но Варсонофий, желая явить в этом случае смирение, отказался от всякого удобства и выбрал для себя самую скромную келью. Воздух в небольшой комнате или просто каморке, занятой Варсонофием, был удушлив. На стеклах запертого теперь, да и вообще никогда не отворявшегося окна, покрытых грязью и пылью, жужжало и пищало множество мух. У стены на простых

из белого дерева подмостках лежали какие-то грязные лохмотья, служившие одром отшельнику. Подле этого ложа стоял деревянный запачканный стол, а на нем находился почерневший железный ковшик с квасом.

– Эка тварь проклятая! – проговорил с досадой Варсонофий, подбрасывая вверх своими запущенными в ковш грязными пальцами плававшую там муху. – Все время ко мне, окаянная, приставала, лезла то в нос, то в рот, а потом ты ко мне ломиться стал. Совсем заснуть не дали, а я-то на службе Божией с самого раннего утра порядком намаялся, отдохнуть надо было на вечерние радения... Так что ж тебе от меня надо? – спросил Варсонофий, обращаясь к Бергеру и садясь на постель. Он закрыл лицо ладонями и зевнул несколько раз. – Да садись же и ты вот сюда, – сказал он поручику, указывая ему глазами на стоявший подле постели чурбан.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.